

Gi

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

основана
М. ГОРЬКИМ

МАЛЛА СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

с о в е т с к и й
п и с а т е л ь

А.А.ФЕТ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
П. П. Громова*

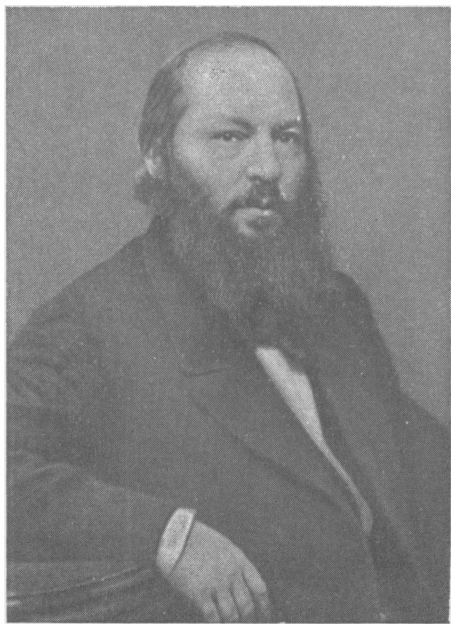
москва - ленинград

1 9 6 3

Р 1
Ф 45

Замечательный русский поэт А. А. Фет (1820—1892) был великим мастером любовной и пейзажной лирики. Стихи А. А. Фета отличаются глубоким и тонким психологизмом, необыкновенной музыкальностью (недаром многие из них стали популярными песнями и романсами), красотой и разнообразием ритмов.

В сборнике представлено лучшее из поэтического наследия А. А. Фета.



А. А. ФЕТ

Фет — один из крупнейших русских лириков XIX века. Своим творчеством он внес значительный вклад в наше общее культурное достояние — великую русскую поэзию. Многие его стихи стали хрестоматийными — мы узнаем их еще в детстве, постигаем в них прелесть русской природы и «внутренний мир души», как говорили современники поэта. Благодаря этому — а отнюдь не из-за формально понимаемого «мастерства», хотя Фет был большим мастером стиха, — лирика Фета сыграла свою роль в общем процессе развития русской поэзии. Вместе с тем на протяжении большей части своей долгой творческой жизни Фет яростно полемизировал с представителями передовой революционно-демократической общественности, своей социальной позицией, подчеркнутой односторонностью своей поэтической практики, своими декларациями вызывал отпор и даже насмешки прогрессивной прессы своего времени.

В разговоре о поэзии Фета всплывают серьезные трудности и противоречия общественного и эстетического плана, которые нельзя обойти или смягчить; надо попытаться понять эти противоречия и дать им соответствующую оценку.

В общественном самоопределении Афанасия Афанасьевича Фета, да и во всей его биографии — творческой и человеческой — огромную роль сыграла социальная двусмысленность его происхождения. Он родился в октябре или ноябре 1820 года в деревне Новоселки, Орловской губернии, и был записан (очевидно, под соответствующим давлением) в церковной книге как сын местного помещика Афанасия Неофитовича Шеншина. На пороге юности подростку Фету пришлось узнать ужаснувшее его обстоятельство: прав на эту запись, равно как и на дворянство и на соответствующие в тогдашней русской жизни привилегии у него нет; его мать стала законной женой А. Н. Шеншина только через два года после рождения будущего поэта. Из русского дворянина юноша стал отпрыском мещанской немецкой семьи Фетов, непонятно как «приписанным» к дворянскому роду Шеншиных. На протяжении всей своей жизни Фет пытался переиграть свою социальную судьбу и добился в конце концов причисления к роду Шеншиных «по высочайшему повелению».

Семья Шеншиных, в которой рос Фет, по-видимому, особой культурностью не отличалась. О занятиях поэзией он сам до юношеского возраста и не помышлял. Четырнадцати лет его отвезли в немецкий протестантский пансион в Верро (нынешнее Выру, Эстонской ССР), где он пробыл три года. Постановку обучения в этом пансионе

Фет чрезвычайно ценил; это давало ему впоследствии повод для сопоставления с Московским университетом (крайне невыгодного для последнего). Как бы то ни было, Фет овладел здесь латинским языком, что помогло ему позднее в переводах из римских поэтов, греческих же (по мнению критики, более ему близких) переводить он не мог по незнанию языка. После Верро Фета определили в пансион профессора М. П. Погодина для подготовки в Московский университет, куда он был зачислен в 1838 году на словесное отделение философского факультета. Университетские годы (учился Фет неважно и пробыл в университете 6 лет вместо 4) были прожиты в доме родителей Ап. Григорьева. Замкнутый, «закрытый» для окружающих, Фет подружился с Аполлоном Григорьевым (позднее — известным критиком и замечательным, хотя и не ценившимся современниками, включая Фета, поэтом), человеком, очень далеким от него и по складу характера, и по темпераменту, и по кругу интересов. В студенческом кружке, центром которого был Ап. Григорьев (сюда входили С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Я. П. Полонский и др.), преобладали философские интересы. В ту пору, как и на протяжении всей своей жизни, Фет был, по-видимому, совершенно равнодушен к немецкой философии классического типа, столь сильно занимавшей ум и сердце Ап. Григорьева. Фета, как и Полонского, в университетские годы интересовали больше стихи, поэзия.

В конце жизни Фет держался как крайний, демонстративный консерватор по убеждениям, так что исследователи говорят даже о своего рода реакционном юродстве. Таким Фет вошел в восприятие потомства. Между тем в советское время стали известны некоторые факты, касающиеся молодости Фета, которые не согласуются с этим канонизированным обликом. Имела значение в этом смысле публикация в 1940 году В. Е. Евгеньевым-Максимовым довольно резкого по своей общественно-политической окраске стихотворения-памфлета на реакционера М. Дмитрисва, выступившего против Белинского со стихами. Умонастроение создавших его авторов выглядит в нем недвусмысленно:

Горько вам, что ваших псарен
Не зовем церквами мы,
Что теперь не важен барин,
Важны дельные умы.
...Что вам Пушкин? Ваши боги
Вам поют о старине
И печатают эклоги
У холопьев на спине.

Участие Фета в сочинении этого стихотворения бесспорно доказывается письмом Я. П. Полонского к Фету от 14 августа 1889 года, где цитируется это стихотворение со следующими комментариями: «...и каким тогда был ты либералом...». Слово «либерал» здесь безусловно обозначает прогрессивную умонастроенность. Из цитированных выше стихов можно предполо-

жить, что молодой Фет не был реакционером. Но эти стихи еще не могут служить достаточным основанием и для умозаключений иного рода. Из собранного в свое время Г. П. Блоком и обобщенного в книге «Рождение поэта» обширного материала вытекает, что Фет в начале творческого пути достаточно трезво и хладнокровно «примеривался» к разного рода идейно-жизненным концепциям, выбирал то, что ему больше подойдет.

Оказывается, Фет и стихи-то начал писать в юности почти случайно. Во время пребывания в погодинском пансионе одному из учителей понадобилось стихотворное сатирическое осмеяние соперника в любви. Фет написал стихи, они подошли к случаю. Заказчик заявил автору: «Вы несомненный поэт, и вам надо писать стихи». И далее Фет эпически сообщает: «С этого дня, вместо того чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи...». Фет трезво пробует использовать внезапно открывшиеся способности.

Наставником, толкнувшим Фета на стихотворчество, был небезызвестный Иринарх Введенский, позднее литератор, своим обликом предвосхищающий шестидесятников утилитаристского толка. Введенский, по характеристике самого Фета, «был тип идеального нигилиста». Из материалов, собранных Г. П. Блоком, явствует, что именно Введенский сыграл решающую роль в духовном формировании молодого Фета. Любопытен документ — текст шуточного договора

на пари между Введенским и Фетом, где этот последний обязуется и через двадцать лет отвергать «бытие бога и бессмертие души человеческой». Это пари заключено было 1 декабря 1838 года, то есть еще до того, как Фет перебрался из погодинского пансиона на житье к Григорьевым. Напряженно-идеалистическая атмосфера студенческого кружка Григорьева была, по-видимому, чужда Фету. По словам самого Ап. Григорьева, Фета как человека характеризует «страшное хаотическое брожение стихий его души». Фет усиленно продолжает писать стихи; когда их накапливается достаточно, он занимает 300 рублей ассигнациями у влюбленной в него гувернантки и на эти деньги в 1840 году выпускает свой первый сборник — «Лирический пантеон».

Введенский тем временем перебрался в Петербург и устроился в «Библиотеке для чтения» Сенковского. Переписка между Фетом и Введенским представляет собою любопытнейший документ «душевного нигилизма». Фет хочет печататься в «Библиотеке для чтения», ждет рецензии на свою книгу. В прессе журнально-газетного триумвирата: Греч — Булгарин — Сенковский, по характеристике П. В. Анненкова, «протекция сделалась основным критическим мотивом, направлявшим оценку лиц и произведений. Протекция раздавала места так же точно в литературе, как и в администрации...» По характеристике же Белинского, «великое патриотически-торговое предприятие Смирдина» — «одобряет и ободряет юные

и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты». Фет рассматривает поэтическое творчество как профессию и стремится примкнуть к «патриотически-торговому предприятию Смирдина», и вместе с тем он признается: «...очень побаиваюсь Отечественных записок, сиречь Белинского, потому что в нем литературной совести ни на грош. Пожалуй, чего доброго, разбирая мой Пантеон, вздумает выставить мое письмо к Краевскому и похвастать, что не принял. Но это будет личность, за которую он со мной добром не разделается». Подобные высказывания в конкретной общественно-художественной обстановке свидетельствовали о стремлении начинающего поэта примкнуть к определенному направлению.

Характеризуя обстановку в России после поражения декабрьского восстания, мрачную эпоху николаевской реакции, определяя не видимую поверхностному глазу глухую, подземную деятельность исторических сил, изнутри подтачивавших крепостнически-бюрократический строй, А. И. Герцен, наряду с описанием разных форм выражения народного недовольства, важную роль отводит в этих процессах и тому факту, что «...внутри государства совершалась великая работа, — работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная»; это — «умственная работа», деятельность общественного самопознания. Герцен убежден в том, что «у народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей сове-

сти». Герцен, в сущности, высказывает гениальную диалектическую догадку, приближаясь к пониманию особой исторической роли реакционных периодов именно в процессах умственного созревания общества. Как отмечал В. И. Ленин, «революционную роль реакционных периодов», когда «царит внешнее спокойствие», характеризует, между прочим, то, что «мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования».¹

Огромна роль критической деятельности молодого Белинского, борющегося прежде всего за «новые методы исследования» русской жизни. Как выясняется к концу тридцатых — началу сороковых годов, само это исследование в художественной литературе новых особенностей действительности — социальной жизни и положения в ней человеческой личности — разделяется на два потока. В прозе Гоголь вводит в художественный обиход новые пласты социальной жизни, обследованные с невиданной дотоле критической зоркостью. Подобную же «пристальность взгляда» (если пользоваться выражением Ал. Блока) применяет к самой человеческой личности, по-новому осмысляющей себя и свое положение в труднейших условиях общественной реакции, в стихах и в прозе Лермонтов. В сороковые годы пропаганда «новых методов исследования» закономерно приводит Белинского к борьбе за «натуральную

¹ В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 5-е, т. 12, стр. 331.

школу» в области прозы и за соответствующую ей в стихотворчестве «дельную поэзию».

Органичность, закономерность такого пути выясняется в полной мере к середине сороковых годов, — к той поре, когда Фет был уже сложившимся поэтом. Труднее понять литературную борьбу второй половины тридцатых годов, обстановку, в которой художественно самоопределялся Фет. Характернейшее явление литературной жизни той поры — раздающееся со всех сторон требование «поэзии мысли». Впервые это требование было выдвинуто еще в двадцатые годы философско-поэтическим кружком «любомудров», возглавлявшимся Д. В. Веневитиновым. Однако получилось так, что в творческой практике поэтов, близких к кружку «любомудров», оно не было реализовано. Говоря о неуспехе «Московского вестника», Белинский утверждал, что этот журнал «любомудров» «был лишен современности». В своей литературной практике поэты, вышедшие из этой среды (А. С. Хомяков, С. П. Шевырев), оказались не в силах овладеть материалом современной «прозаической действительности» и просто перелагали в стихи философические декларации предславянофильского и славянофильского толка. Эти литературные неудачи тесно связаны с общественной позицией ряда близких к «любомудрию» литераторов — отдельные представители этого круга все больше и больше шли не только к славянофильству, но и прямо к реакционной «официальной народности».

Требование «поэзии мысли» подхватила и по-своему истолковала и «смирдинская словесность». Наиболее крупным, значительным явлением среди «низовых» или «вульгарных» (пользуясь терминами Л. Я. Гинзбург) романтиков тридцатых годов, выдвигавшихся «смирдинской словесностью» в качестве «поэтов мысли», был Бенедиктов. Ходовые романтические идеи в стихах Бенедиктова как бы исходили из уст лирического героя, в котором легко угадывался рядовой, средний человек «прозаической» современной эпохи — чиновник, мелкий офицер, мещанин николаевской России. Шевырев видел в этом искомое слияние «мысли» с «прозаической действительностью». Л. Я. Гинзбург, прояснившая многое в литературной борьбе той поры, права, утверждая, что Белинский в ряде своих выступлений против Бенедиктова борется на два фронта: против московских теоретиков предславянофильского толка, с одной стороны, и против «торгово-промышленного» направления, представленного рептильной петербургской прессой — с другой. В литературной программе молодого Белинского призыв: «назад к Пушкину» — объясняется тем, что для «смирдинской словесности» требование «поэзии мысли» было в то же время способом борьбы с пушкинским направлением в литературе. Белинский, больше чем кто-либо сделавший для «умственной работы», которая, согласно Герцену, характеризует эпоху, выступает против требований «поэзии мысли». Он считает, что одна лишь «умственная сторона» деятельности человека не

должна и не может быть предметом поэзии, нельзя членить в поэзии мысль и чувство. Он противопоставляет Бенедиктову Пушкина, как подлинного поэта. Односторонняя, хотя бы и «современная», мысль еще не делает поэта поэтом. Дело не только в том, что у Бенедиктова нет подлинной «мысли» в стихе, — важно и то, что у него эмоциональная стихия неподлинна. В «Литературных мечтаниях» Белинский говорит о «смирдинском периоде словесности», одним из «гениев» которого является Барон Брамбеус — Сенковский. Именно к изданиям Сенковского, к его литературному «авторитету» тянется молодой Фет, увлеченный поэзией Бенедиктова, как наиболее «современной». По свидетельству самого Фета, они вместе с Ап. Григорьевым «с упоением завывали» стихи Бенедиктова. Позднее — к 1842 году — Белинский точно квалифицирует социальную природу этой «современности» как поэтизацию мещанства николаевской эпохи: «поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга»; он ставит эту поэзию рядом со славянофильским наследием «любомудров» — «поэты, подобные Марлинскому и гг. Бенедиктову, Языкову, Хомякову» — ввиду их односторонности.

2

В сборнике «Лирический пантеон» легко улавливаются отголоски устойчивой поэтической культуры начала XIX века; исследователи закономерно вспоминают в этой связи имя Жуков-

ского и других поэтов. Точнее было бы говорить о некоей общей интонации, оттенками которой безразборчиво пользуется не вооруженный необходимой литературной культурой автор. Эта интонация звучит, например, в открывающем книгу стихотворении «Пуская в свет мои мечты...», с его «улыбкой красоты», «рабом мучительных страстей» и «тайными страданиями». Однако не эти тона пушкинской эпохи являются определяющими в книге. Молодой автор пробует свой собственный голос, и голос этот является в какой-то степени современным, хотя и совсем еще не установившимся. Заметна попытка поставить этот голос так, чтобы он напоминал модных стихотворцев, вокруг творчества которых происходят журнальные баталии. В «Лирическом пантеоне» идут описания ужасающих, диких, необузданных страстей, протекающих иногда в экзотической обстановке, — совсем как у вульгарных романтиков тридцатых годов, и так же, как там, неожиданно вторгающиеся бытовые словечки, фразы заставляют не очень-то доверять этим потрясающим переживаниям. Так, в стихотворении «Откровенность» герой уверяет героиню, что ей не удастся снова разжечь в нем вышеупомянутую страсть:

Ни хитростью, ни истинным огнем
Не распалишь потухшего волкана.

Однако тут же, по ходу речи о тщетности потуг героини разжечь потухший волкан, ей советуется:

Не привлекай и глазки не взводи.

Но и проговорки разного рода, отчетливо доминирующих «современных» поэтов, с одной стороны, и вместе с тем характерных для последующего пути Фета, в этой книге тоже достаточно много. Тут и подробности, неуместные в пылких или душераздирающих поэтических ситуациях, вроде «могучей и ловкой талии» героя («Утешение»); и сентенции, неожиданной психологической точностью разрушающие кровавый сюжет: «Хоть убит — не стоять же над ним. Что за вздор!» («Посмотри, наш боец зашатался, упал...»); тут и вульгаризмы, сочетающиеся со своевольной перестановкой ударений, вроде: «И страстней я милашку поцелую» («Сними твою одежду дорогую...»); тут и речения из современного канцелярского или журнально-газетного обихода: «Ты, грации художественный рост» («Застольная песня»); тут и новые, подчас безвкусные словообразования или необычные применения архаических слов, вроде «звончатой лиры Аполлона»; тут и обиходные, бытовые предложения, своей неожиданной жизненностью по-новому освещающие не только данное стихотворение, но и многое вокруг, вроде: «И снова под руку пойду гулять с тобою» («Не плачь, душа моя: ведь сердцу не легко...»). Обилие таких неожиданностей, диссонирующих с показным общим тоном, заставляет считать их характерной стилистической тенденцией, необходимой для верного восприятия другой, «возвышенной» стороны общего построения.

«Лирический пантеон» был встречен резко отрицательной рецензией Сенковского в «Библиотеке для чтения», — в журнале, пропагандировавшем творчество «вульгарных романтиков». Рецензия эта отличается юродски-издевательским тоном, обычным для Сенковского, но есть в ней и социально острая мысль, объясняющая жестокость разноса. Глумясь над названием фетовской книги (пантеон — «всебожница»), Сенковский утверждает, что всебожница заселена демонами: «Да это не пантеон, а пандемонион, всечертовщина, всебесница». Сенковский намекает на то, что истинной идеей, одушевляющей молодого поэта, является безверие, «нигилизм». Десять лет спустя, по выходе в свет второго сборника Фета, к тому времени уже сложившегося поэта, Сенковский откликнется на него рецензией, где, изменив и усложнив аргументацию, объявит Фета певцом «Ничего», поэтическим «нигилистом». «Не понимаю я поэзии без высокой мысли нравственной или религиозной». — заявит Сенковский в 1850 году, обвинив Фета в том, что, заимствуя у многих авторов, «все взятое он переделывает по-своему, и так искусно, что повсюду вы получаете самую высокую поэзию „Ничего“». За парадоксами и юродством Сенковского стоит вполне определенная социально-охранительная тенденция. Фет, согласно этой оценке, выражает своими стихами современное шатание умов.

Получилось так, что Фет, возлагавший все свои надежды на «Библиотеку для чтения», получил именно оттуда сокрушительный удар. Под-

держали его «Отечественные записки», где литературную политику направлял Белинский. Рецензент «Отечественных записок» П. Н. Кудрявцев с первых же страниц сборника молодого поэта усматривает в нем «отсутствие всяких претензий, всяких неистовых возгласов»; далее он нашел в авторе «кроткое спокойствие вместо изысканного жеманства, благородную простоту вместо приторной напыщенности». Стихи Фета противопоставляются «ложной величавости» и надуманному неистовству страстей вульгарных романтиков тридцатых годов, пропагандировавшихся и противопоставлявшихся «пушкинскому направлению» смиренной словесностью. Тут автор рецензии скорее неправ, чем прав. Конечно, противоречие между показной «бурей страстей» и простотой тона в стихах «Лирического пантеона» достаточно велико. Но автор рецензии подчеркивает одну сторону дела и затушевывает другую. Создается впечатление, что рецензенту важнее желаемое, чем сущее. Молодого автора направляют на тот путь, которым он *должен* идти.

Кудрявцев особо выделяет в книге молодого поэта стихи «антологической» темы, хвалит переводы из Горация и Гете, в целом отстаивая «классичность». Общее направление статьи Кудрявцева таково, что можно говорить о защите им «пушкинской» линии в поэзии, есть даже прямые намеки на нее: «Скажите, откуда такая изобразительность? И как не подозревать тут влияния более сильного, нежели влияние поэтов латинских? . . .» Такое отстаивание «классичности», «анто-

*

логичности» темы практически направлено не только против крайнего выражения особенностей «новой школы» у Бенедиктова, но и против того же сочетания «риторики» и «прозаичности» в поэзии московских философских кружков. Как сам Фет оценивал позднее стихи антологической темы в «Лирическом пантеоне», можно судить по тому, что в сборник 1850 года он включил из своей ранней книги только четыре стихотворения, и все они антологического типа; два из них («Греция» и «Когда петух...») входят в список основного собрания стихов Фета и принадлежат к числу его лучших вещей. У Кудрявцева получается, что «верный такт, верное чувство природы» присущи только стихам этой темы. Вне поля зрения рецензента остались вещи, где Фет настойчиво ищет на «современном материале» новый тип поэтической простоты, стихи, которые обещают большого, оригинального поэта.

Из стихов такого рода надо выделить прежде всего «Хандру». Стихотворение примечательно тем, что поэт создает тонкую и живую картину осени, постоянно перебивая ее прихотливым психологическим рисунком — изображением душевного состояния человека, охваченного «осенними» настроениями. Возникает сложное «двойное изображение»:

... Не еду в город: «смесь одежд и лиц»
Так бестолкова! Лучше у камина
Засну — и черт мне кучу небылиц
Представит. Пусть прекрасная Алина

Прекрасна. — Завтра поздней стаей птиц
Потянется по небу паутина,
И буду вновь глядеть на небеса:
Эх, тяжело! хоть бы одна слеза!

Стоит обратить внимание хотя бы на то, как точно передаются простейшим приемом — разбивкой фраз по стихотворным строчкам — перебои мыслей и как ярко врезается в эту картину «душевной смуты» образ потянувшейся по небу паутины.

Быть может, этим «недоглядом» рецензента обусловлена оценка его работы Белинским. В письме к Боткину от 26 декабря 1840 года Белинский пишет: «Как хороша его рецензия в последнем № на «Лирический пантеон» Ф., только он уж чересчур скуп на похвалы — о строгий критик! А г. Ф. много обещает».

Логика дальнейших отзывов Белинского о Фете показывает, что молодой поэт не оправдал возлагавшихся на него надежд, пошел иным путем, не тем, на который его толкали Белинский и его окружение. В ближайшие два-три года сильно обогащается и усложняется сама поэтическая программа Белинского. Белинский на основе глубокого осмысления творчества Лермонтова заново формулирует вопрос о положительных началах в поэзии, в цикле статей о Пушкине строит толкование процессов развития русской поэзии на принципах историзма. В этом контексте иную роль начинает играть, в частности, «антологическая» тема: «Благодаря Пушкину тайна антологи-

ческого стиха сделалась доступна даже обыкновенным талантам» — в ряду этих «обыкновенных талантов» назван и Фет рядом с Майковым. В обзоре русской литературы за 1843 год говорится, что среди многочисленных стихотворений Фета «встречаются истинно поэтические», но в целом надежд на молодого поэта уже не возлагается никаких, что достаточно определенно выражено в письме к Боткину от 6 февраля 1843 года: «...я не читаю стихов (и только перечитываю Лермонтова, все более и более погружаясь в бездонный океан его поэзии), и когда случится пробежать стихи Фета или Огарева, я говорю: „Оно хорошо, но как же не стыдно тратить времени и чернил на такие вздоры?“»

3

В течение ближайших двух-трех лет по выходе в свет «Лирического пантеона» Фет, проникнув на страницы журналов (сначала славянофильского «Москвитянина», а затем и «Отечественных записок») и помещая там много стихов, становится заметным явлением в литературе. Он формируется как поэт в славянофильском окружении, но, видимо, главным в его развитии следует считать самостоятельные умственные и поэтические поиски. Он быстро приобретает известность и в литературных, и в читательских кругах, но во все более обостряющейся борьбе основных направлений общественной мысли его

трудно прикрепить с определенностью к какому-нибудь из этих направлений. В 1843 году Белинский пишет: «Из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет, а всех знаменитее гг. Языков и Хомяков». Контекст рецензии, из которой взята цитата, ироничен по отношению к славянофилам, и, конечно, иронично сопоставление молодого поэта-студента с маститыми уже литераторами. Но сказать определенно, что Фет примыкает к направлению противоположному, возглавляемому Белинским, тоже нельзя. По-видимому, для Фета основным было жизненно самоопределиться в качестве профессионального литератора.

Интенсивное печатание, отклики в прессе, отзывчивость читающей публики — все это еще не убеждает молодого Фета в том, что профессиональный литературный труд является достаточно надежным житейским устройством. После окончания университета Фет, с риском потери установленных литературных отношений и связей, поступает на военную службу. Столь ответственное решение, как полный отрыв от литературы, принимает уже сложившийся, в сущности, поэт.

Фет поступает унтер-офицером в захудалый кирасирский полк; в течение долгих лет он живет и тянет служебную лямку в глухих углах провинциальной николаевской России. Устроиться лучше на военной службе помешало отсутствие связей. Целью было — выслужить дворянство, которое давал в то время офицерский чин. В своих мемуарах Фет рисует колоритные картины жизни малокультурной помещичьей среды, чуждого ин-

теллектуальных интересов провинциального офицера. Себя самого Фет изображает как лишенного всяких размышлений и сомнений, ретивого, исполнительного служаку. Но было и другое: ощущение трудновыносимой тяжести и пустоты жизни, лишенной настоящих умственных интересов. Реалистическая картина подлинной жизни Фета той поры предстает в его письмах к близкому другу И. П. Борису. Фет, по его собственным словам, ведет «ложную, труженическую, безотрадную жизнь». «Долго ли продолжится это заключение — не знаю, и через час по столовой ложке лезут разные гоголевские Вии на глаза, да еще нужно улыбаться». «А я могу жизнь свою сравнить только с грязной лужей», — пишет он.

В довершение всех бед желанное потомственное дворянство все отодвигается и отодвигается, получение его, в конце концов, оказывается чистой иллюзией. Фет обосновывает свою службу просто нуждой: «Деревни у меня нет, ничего прочего такого, а без сюртука ходить не велят, хотя бы и хотел». Рождаются неприглядные планы изменения своей личной судьбы: «...тайно пытаюсь найти где-нибудь мадмуазелю с хвостом тысяч в 25 серебром, тогда бы бросил все». В разных вариантах представляется дальнейшее существование: то говорится, что после выгодной женитьбы «засяду в деревне стричь овец и доживать век», то строится план городской жизни: «отправился бы жить на Арбат или к Никите-мученику».

При этих обстоятельствах Фет испытал самое серьезное, вероятно, во всей его жизни чувство. Фет подружился с супружеской четой богатых в ту пору помещиков Бржеских. Дружба эта была длительной. Муж — А. Ф. Бржеский — сам писал стихи; жене, А. Л. Бржеской, много позже Фет посвятил один из шедевров своей лирики — стихотворение «Далекий друг, пойми мои рыданья...». В родственной Бржеским семье Фет познакомился с Марией Лазич. Из мемуаров Фета (там она названа Еленой Лариной) известно, что Лазич была отличной музыкантшей, любительницей стихов, поклонницей лирики Фета. Возникло взаимное чувство, но Лазич была бедна. «Мои средства тебе известны, она ничего тоже не имеет», — писал Фет своему другу. Фет считал, что «бессознательно действовать прости-тельно только в тяжкие, крутые минуты жизни, и то в минуты». «Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее», — так он писал еще об отношениях с Лазич. Но, очевидно, он не счел «минуту» — «крутой». Фет и Лазич перестали встречаться. После разрыва Лазич сгорела от неудачно (или намеренно неудачно) брошенной спички. По свидетельству Фета, Лазич «умерла со словами: он не виноват, — а я». Стихи Фета, посвященные Лазич (он писал в стихах об этой любви до конца своей долгой жизни), отличаются напряженностью и силой лиризма, они резко выделяются среди любовной лирики Фета своим особым драматическим колоритом.

При таком весьма обдуманном, строго подкреп-

ляемом рациональными выкладками поведения высказываются также и некие сентенции нравственного порядка: «добрался до безразличия добра и зла», что, в свою очередь, обосновывается и общими представлениями о жизни, вроде того, что «жизнь — чистая кукольная комедия», а «мир людской составлен из глупости, лжи и подобных специй». Характер и некоторые общие воззрения Фета, по-видимому, отличались устойчивостью. В своих мемуарах, написанных в конце жизни, он высказывает аналогичные мысли — о некоем всеобщем, универсальном эгоизме, определяющем относительность нравственных категорий: «Стоя на вершине многолетия, справедливее относишься и к себе, и к другим, видя ясно, что люди в большей или меньшей степени держатся убеждения дикаря, что если он украдет чужую жену, то это благо, а если у него украдут, то это зло»; поэтому поступки людей определяются не разумными соображениями, но их волей, чаще всего злой: «...невозможно не видеть ежеминутного подтверждения истины, что люди руководствуются не разумом, а волей». Себе самому Фет вменяет в достоинство то, что он четко членил разные сферы жизни и деятельности и в практических отношениях руководствовался именно разумом, а не бессознательной волей: «Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого для нас скрыты (вечная тема наших горячих споров с Тургеневым), настолько в практической

жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом».

Противопоставление разных областей человеческой деятельности, социальной и частной жизни человека — черта мировоззрения Фета, в тех или иных формах проходящая через всю его биографию. Надо попытаться разобраться в том, как она преломляется в художественной практике поэта. Сама действительность толкала Фета к размышлениям на подобные темы, достаточный материал для них давала личная судьба поэта, полная разного рода неустройств и противоречий, социальных и частных.

Попытки осмыслить исторические и общественные противоречия — важнейшая часть «умственной работы» этого переходного времени. Искания философских кружков конца тридцатых — начала сороковых годов в конечном счете приводили к разного рода общественно-политическим выводам. Умозрительная сторона этих исканий была Фету чужда, но жизненный материал духовных поисков, сама проблематика не могли быть чужды ему, человеку своего времени. И то разделение «общественного» и «частного» человека, к которому приходит Фет, размышляя о неудачах собственной жизни, находит себе аналогии в иного типа «умственной работе» времени. Фет иначе решает для себя эти вопросы, чем, скажем, друг его молодости Ап. Григорьев, но сама проблематика связывает их.

Естественно, что еще меньше может игнорировать Фет существенные для времени художе-

ственные проблемы, так же как и требование «поэзии мысли», впервые выдвинутое Д. В. Веневитиновым и ставшее столь актуальным к началу художественной деятельности Фета. Характерные, подсказанные эпохой конкретные художественные темы находят своеобразное решение у Фета, — не такое, как у других его современников; но круг проблем связывает его с современниками. Скажем, характерной для эпохи является идея противоречий между поэтом и современной жизнью и связанная с ней более общая мысль о противоречивости, «двойственности» человеческой души и самой действительности. Как поэтическая тема эта проблема получает широкое распространение среди поэтов разных направлений. По-своему решают ее «вульгарные романтики», от которых в какой-то степени зависит и еще больше отталкивается молодой Фет. По-своему ставит и решает ее великий поэт Тютчев:

О, вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

У славянофилов, в кругу которых непосредственно формировался Фет, эта тема приобретает характерную прямолинейность, логичность, риторическую выпренность:

Заря! Тебе подобны мы —
Смешенье пламени и хлада,

Смешение небес и ада,
Слияние лучей и тьмы.

Так писал молодой Хомяков. Фета все эти проблемы не могли не волновать; мы видели, как он — может быть, грубо и цинично с нашей сегодняшней точки зрения — решал их в своей собственной жизни.

Проблема «двойственности» человека, драматического соотношения между его личными переживаниями и выявлением этих переживаний во вне, сама по себе, безусловно, относится к общественной жизни. Читателю стихов Фета суждения из его личных откровенных писем, приведенные выше, могут показаться неожиданными, о такого рода вещах Фет в стихах никогда не рассказывает, он отстраняет их как к поэзии не относящиеся. Это значит, что драматизм положения человека в обществе (даже если это относится к его собственной человеческой судьбе) не представляется ему предметом поэзии. Фет четко членит то, что относится к области искусства, и то, что относится к общественной жизни. Все, что относится к общественной жизни человека, должно быть, по его мнению, безразлично подлинному художнику. В феврале 1859 года Фет выступил на страницах журнала «Русское слово» со статьей «О стихотворениях Ф. Тютчева», раскрывающей основные эстетические принципы его собственного творчества. Там прямо сказано в самом начале: «...вопросы — о правах гражданства поэзии между прочими человеческими дея-

тельностью, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался».

Поэты-славянофилы не считали, что общественные коллизии не могут быть предметом искусства. Напротив, собственное поэтическое творчество они подчиняли своим общественным теориям. Поэтому-то так мало похожа и поэзия Фета на стихи славянофилов. Еще меньше она похожа на стихи Тютчева, к творчеству которого, кстати сказать, и названная выше статья Фета тоже имеет очень мало отношения по той же причине.

Область поэзии, по мнению Фета, совершенно специфична. Он определяет ее так: «Художнику дорога только одна сторона предметов — их красота». Здесь надо обратить внимание на то обстоятельство, что красота толкуется как определенная, строго выделенная сторона самих изображаемых предметов. Согласно Фету, «красота разлита по всему мирозданию» и входит в «дары природы». Поэтому совершенно безразлично, что именно изображает художник — любой предмет или явление могут быть изображены в искусстве, ибо «мир во всех своих частях равно прекрасен». Казалось бы, что если везде и всюду можно найти красоту, то можно найти ее и в явлениях общественной жизни, однако Фет настаивает на том, что он эти явления «давно и навсегда» исключил из области искусства. Явления общественной жизни, согласно Фету, чужды прекрас-

ного. Эстетика Фета одновременно и очень широка, по-своему, — можно изображать в искусстве все что угодно, — и в то же время невероятно узка: исключены проблемы, которые на деле больше всего волнуют реального человека, а именно — проблемы, связанные с его местом в обществе, с его общественными отношениями и общественной борьбой. Поэтому понятно, что, скажем, вся борьба самого Фета за место в жизни не может войти в его стихи: она безобразна, и Фету-поэту до нее не должно быть дела. Такова, дескать, жизнь, и таковы люди — «давно и навсегда», изображать же надо и можно только одну сторону реальных явлений и предметов — их красоту: «у всякого предмета тысячи сторон», и воспроизвести их все нельзя.

Что же Фет понимает под «красотой», и как он это свое представление реализует в творческой практике? Какие именно «стороны» из тех «тысяч», которые имеются, по его представлению, в реальных предметах и явлениях, он предпочтительно включает в свои стихи?

Как отвечали на эти вопросы современники Фета?

В течение того периода, о котором идет речь, Фет выпустил два сборника стихов — в 1850 году и в 1856 году. Критические отзывы на эти сборники, равно как и текущие отклики на журнальные публикации фетовских стихов, отражают постепенно складывающееся мнение современников о художественных особенностях поэта; причем отклики на вторую из этих книг знаменуют на-

чало острой общественной борьбы вокруг лирики Фета.

Какие особенности в поэзии Фета отмечаются как индивидуально присущие поэту признаки, представляющие нечто новое для поэзии в целом?

Есть в откликах современников нечто такое, что может удивить или даже поразить сегодняшнего читателя. Таково, скажем, приводившееся выше мнение Сенковского, что поэзия Фета выражает современное шатание умов, «нигилизм». Подобное мнение может удивить сегодняшнего читателя примерно так же, как и то, что среди первых читателей «Войны и мира» были и такие, которые сочли метод Толстого выражением нигилистического поклепа на войну 1812 года.

Но вот критики, не столь крайне настроенные, к парадоксам не склонные, — либералы В. Боткин и А. Дружинин. Охотно соглашаясь с тем, что именно «красота», «поэзия» должны быть прежде всего предметом искусства, Дружинин свои комплименты Фету доводит до предела: «Подобной высокой, безграничной, волшебной, изумительной поэзии надо поискать и поискать во всех европейских литературах». Вместе с тем, определяя индивидуальные фетовские качества, его особенности, и Боткин и Дружинин связывают их с современным состоянием литературы. Боткин отмечает трудности, возникающие для поэта, так как «преобладающее направление нашего времени есть преимущественно практическое, деловое», и утверждает в связи с этим, что в современности «все великие поэты суть вместе

и глубокие практические умы». Особенное и индивидуальное у Фета, по мнению Дружинина, заключается в том, что он предстает «истолкователем нашей житейской поэзии», что у него «зоркость взгляда, разгадывающего поэзию в предметах самых обыкновенных». Боткин тоже считает, что в лирике Фета «находят себе отзыв» «обыденные моменты» и «поэтическое чувство является в такой простой домашней одежде», как никогда ранее. Отзывы Боткина и Дружинина во многом совпадают с отзывом Ап. Григорьева (или, может быть, зависят от него), который в 1850 году писал о поэзии Фета: «В способности подмечать и передавать обыкновенные, но другим неуловимые оттенки чувства и страстей заключается вся сила дарования нашего молодого поэта».

Современники усматривали особенность поэзии Фета в умении художественно закрепить результаты наблюдений над жизнью природы и человеческого сердца в момент движения, развития: «Он весь живет моментом, им схваченным... и воссоздает поразившую его картину, не выпущая из нее малейшей подробности». Эту особенность поэзии Фета легче всего проследить в наиболее известных, хрестоматийных ее образцах. Вот одно из ранних стихотворений Фета, в простоте и прозрачности своего построения отчетливо обнаруживающее обычный для поэта способ передачи лирического содержания:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;

Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

Ап. Григорьев писал о Фете: «Он призван подметить много новых черт в повседневном и обыкновенном. Сочувствие природе, понимание движений сердца — вот лучшие стороны этого таланта». Нарисованная поэтом картина волнует читателя «повседневным и обыкновенным», своей узнаваемостью: вид бешеной скачки в необозримой дали куда-то уходящей дороги. Что же здесь нового в художественном познании «обыкновенного и повседневного» в сравнении с тем, что было достигнуто русской поэзией до Фета?

Тему этого стихотворения, как и множества других стихов Фета — условно, приблизительно, ибо это таит в себе неизбежную долю упрощения, — можно определить как тему соотношения между «природным» и «душевым», «психологическим» в человеке. Чтобы понять новое и своеобразное в нем, можно попытаться сопоставить его с пушкинской «Осенью», написанной примерно за десять лет до того. Пушкинское стихотворение прежде всего многотемно. Условно темы его можно определить как темы свободы внешней и внутренней, развития творческого начала в человеке, отношений человека с природой и

чувственно-предметным миром. В связи с последней темой Пушкин развертывает целую панораму природных явлений. «Иль думы долгие в душе моей питаю» — одна из граней этого замысла.

Вот эпизод, внешне близкий фетовским стихам и поэтому удобный для выяснения различий:

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривой, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.

В отличие от Пушкина, Фет как бы из целой панорамы берет один эпизод, чтобы в связи с ним показать «думы долгие». Многотемная композиция стала локальной. Тема отграничилась от других, сконцентрировалась. Вместо многих узлов внутреннего сюжета остался один, очень сжатый сюжетный удар. Фет — теоретик стиха — позднее считал, что сюжет лирического стихотворения не должен выходить «за пределы одноцентренности» (письмо к К. Р. от 7 апреля 1887, архив ИРЛИ). Однако наиболее решительное отличие заключается даже не в этом. Приведенный из пушкинских стихов эпизод содержит в себе внутреннее обобщение — в смысле времени, пространства, героя. Рассказанное могло случиться давно и недавно, в разных местах, с разными людьми. Соответственно разными были бы «думы долгие». Для фетовской композиции — в этом ее внутренний смысл — наиболее суще-

*

ственно то, что это случилось вот тут, сейчас, со мной, произошло внезапно, настигло меня. Здесь как бы несколько «крупных планов»: облако пыли, оно налетает волной, что-то движущееся, динамичное. Самое важное здесь, в первой половине картины, что «не видать в пыли», что это произошло тут же, сейчас, ослепило ясной зримостью, заставило думать, что же это? Вторая половина — взволнованное, задумчивое лицо человека, в котором столь же внезапно возникло переживание, еще минуту назад от него далекое, прервавшее совсем иной ход его мыслей: «Друг мой, друг далекий, Вспомни обо мне!»

Подобное построение стиха «двумя рядами», на скрещении этих двух рядов: один ряд представляет некую картину чувственно-предметного (природного) мира, а другой — картину душевного, психологического движения, — являет собой характерную особенность поэзии Фета, выработанную очень рано и проходящую через все его творчество.

Вот стихотворение 1842 года:

Буря на небе вечернем,
Моря сердитого шум —
Буря на море и думы,
Много мучительных дум —

Строфа кончается тире потому, что вторая и последняя строфа стихотворения дает развертывание и завершение того же параллелизма «природного» и «душевного» рядов, что и первая.

Вот стихотворение, относящееся к 1850 году:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

За этой строфой следуют еще две строфы, вторая строфа тоже кончается запятой, так что движение двух параллельных тем как бы идет «на одном дыхании» до конца стихотворения; трепетанию лунной ночи, переходящей в утреннюю зарю, соответствует рисунок перебоев любовного чувства («и лобзания, и слезы»).

А вот стихотворение 1883 года:

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый,
Детски задумчивый взор.

В стихотворении еще четыре строки. Каждая нечетная начинается с «только», каждая четная кончается точкой. В сущности, нет строф, все стихотворение — одна строфа, «одно дыхание», каждая точка отграничивает одну часть параллелизма. Контрастные как будто бы темы сливаются в одну. «Природный» и «душевный» ряды четко отграничены друг от друга, но в то же время с самого начала даны в неразрывном единстве, в полном слиянии.

Исследуя поэтику Фета (в сущности, компози-

ционное построение фетовских стихов), Б. М. Эйхенбаум в книге «Мелодика стиха» приходил к следующему выводу: «Мы имеем действительно нечто музыкально-математическое, своего рода контрапункт или, пользуясь иной аналогией, орнаментальное сплетение двух узоров». Эйхенбаум шел путем исследования стиховой интонации, противопоставляя стих «говорной» стиху «мелодическому». Он отстранял идейно-тематическое значение этих «двух узоров»; иначе говоря, он доказывал, что стихи Фета построены чисто «математически», технологически.

Сам Фет смотрел на дело иначе. Для него в конечном слиянии, тождестве двух рядов — природного и душевного — заключалась определенная жизненная философия. Фет писал: «В произведении истинно прекрасном есть и мысль... но нельзя... определить, где именно надо ее искать... Но что она тут, за это ручается тайное сродство природы и духа или даже их тождество». Соблазнительно было бы в этом программном высказывании усмотреть воздействие немецкой идеалистической философии, — скажем, Шеллинга. Философия Шеллинга в конечном счете была единственной системой, сколько-нибудь признававшейся славянофилами, в окружении которых формировался Фет. Соответственно можно было бы пытаться в его «двухрядных» построениях усматривать воздействие романтической темы «двоемирия». На деле все это не так, и продиктовано и в стихах, и в теории совсем другими соображениями. Философские си-

стемы классического типа — в извращенной идеалистической форме, конечно, — содержат в себе стремление понять и по-своему осмыслить мир социальных отношений и социальных противоречий. Фет возможность социальной трактовки своих коллизий отмечает с порога. Поэтому-то в стихах славянофилов может присутствовать — и чаще всего присутствует — политическая мысль; она решается неприемлемым для нас образом, но она присутствует; поэтому-то славянофилы и могут поднимать в своих стихах острые проблемы общественных противоречий (см. «России» Хомякова). Отстранив социальные коллизии как «кошмар», не имеющий отношения к искусству, Фет стремится добиться в своих «двух мирах» — «природы» и «духа» — полного слияния, совпадения, «тождества». Этим достигается и этим объясняется своеобразный фетовский «оптимизм», радостное приятие мира в слиянии «природного» и «душевного» начал. Не случайно этот фетовский «оптимизм» был поднят на щит либералами и фактически противопоставлялся ими «мрачной» социальности революционной демократии. Боткин писал о том, что в стихах Фета «есть звук, которого до него не слышно было в русской поэзии, — это звук светлого, праздничного чувства жизни»; Фет, по Боткину, «каким-то чудом прошел между враждующими страстями и убеждениями, не тронутый ими, и вынес в целостности свой светлый взгляд на жизнь».

Само по себе стремление изображать жизнь в ее светлых, радостных сторонах безусловно яв-

ляется положительным качеством поэзии Фета. Однако едва ли мы можем согласиться с Боткиным, писавшим о Фете, что «он не задумывается над жизнью, а безотчетно радуется ей». Во многом, конечно, «жизнерадостность» Фета является преувеличенной, подчеркнутой, чрезмерно напряженной: она тесно связана с желанием поэта устранить из лирики большие тревоги жизни, и в особенности — общественные противоречия, их преломление в человеческой душе. Но Фет был большим поэтом. Устранить из искусства все, что ему хотелось как человеку, и человеку, скажем прямо, в достаточной степени непривлекательному для нас, ему не удастся. И напряженная «жизнерадостность», и в особенности «тождество» душевного и природного начал — являются не только сознательной предпосылкой, но и следствием каких-то иных, реально более существенных для этой поэзии особенностей, чем только желание дать безмятежно гармоничную «красоту».

Постоянное соотнесение душевного и природного начал, прежде всего, далеко не всегда предстает в его стихах как безоблачная идиллия. Есть здесь и свои «конфликты», в особенности ощутимые во второй период творчества, о чем речь впереди. Пока же для нас важно другое. Выше, в связи со стихотворением «Облаком волнистым...», говорилось о творческой тенденции Фета изображать события «сиюминутные», буквально на глазах у читателя происходящие. Это связано с некоторыми особенностями в поэтическом решении самой «двухрядности» и обуслов-

ливаает передачу качеств одного ряда — другому. Скажем, Фет хочет передать трепет раннего, свежего любовного чувства. В стихотворении Фета оказывается, что «трепещет» не только человеческое сердце, охваченное неясной любовной тревогой, — «трепещет» природа. Л. Н. Толстой по поводу двух строк из стихотворения «Еще майская ночь»:

И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь —

говорил, что Фету присуща «непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов». Это — одна из характернейших особенностей поэзии Фета. Конечно, «тревога и любовь» не могут разноситься в воздухе. Но ни один сколько-нибудь здравомыслящий читатель не подвергнет сомнению закономерность этого «приема» только на том основании, что «так не бывает».

Ведь, скажем, в живописи после открытия перспективы удаленные предметы изображаются гораздо меньшими, чем они существуют на самом деле, и любой зритель знает, что дом, изображенный в отдалении от человеческого лица гораздо меньшим, чем само это лицо, всенепременно в реальной действительности гораздо больше, чем человеческое лицо: он знает, что человеческое лицо на самом деле меньше, чем дом, и знает вместе с тем, что попытаться изобразить все это иначе, как, скажем, на детском рисунке, означало бы для взрослого художника впасть в особую и великую неправду.

Наряду с таким способом соотнесения «двух рядов» — природного и душевного — Фет прибегает еще и к иному способу: он может условный, литературно-цитатный или метафорический образ дать в таких соотношениях с изображаемой душевной ситуацией, что тот образ засверкает неожиданными красками, по-особому осветив и эту душевную ситуацию. Вот, например, раннее стихотворение (1844):

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной...

Как выяснится далее, во второй строфе, стихотворение изображает первую любовь, постигшую героя, очевидно, почти еще в отроческом возрасте. Дана она в воспоминании такой, какой она существует сейчас, — в сознании героя, которого время от времени охватывает необычайно острая эмоциональная память о некогда бывшей, но и сейчас еще живущей в нем любви. Герой плачет не в прошлом, не тогда, когда это было, а именно теперь. Это первый план стихотворения, как бы то реальное плачущее лицо, крупно изображенное на картине. Но к этому первому плану поэт ведет читателя через второй, в перспективе стихотворения смещенный, приближенный. Это — пейзаж особого рода, фон, «природный ряд». Первая любовь изображается в виде вновь открываемой страны, на границе которой стоит ге-

рой и видит ее как бы в рассветной дымке. Поразительна здесь лирическая сила, превращающая условный библейский образ «обетованной земли» в зримый (по-особому, конечно, «лирически» зримый) душевный «пейзаж» утра дней. Но ведь это и необычайно пронзительное ощущение просто утра, всплывающего в памяти; утра, когда перед глазами расстилается в дыму рассвета некая равнина. Недаром же Блок уже в конце жизни слова «За гранью прошлых дней» взял для названия последней книги, в которой он собрал свои ранние стихи. Юность, живущая вечно, до конца дней, в неюмом уже сознании — вот смысл этих простых, как бы лирически звенящих слов.

Во второй строфе Фет переходит от столь своеобразного «пейзажного ряда» — к «ряду душевному»: к более детализованному рассмотрению, аналитическому расчленению образа «обетованной земли», ее значения и смысла для сегодняшнего, продолжающегося существования человека:

Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих
снов,

Тобой так сладостно и больно возмущенных
В те дни, как постигал я первую любовь

По бунту чувств неугомонных...

Оказывается, в перспективе есть план еще более отдаленный: это — детство, земля, которую можно было бы счесть даже более «обетованной» и счастливой, чем юность. Однако та грань не-

привлекательна для лирического героя: она слишком тиха и спокойна; в сегодняшнем, вот сейчас протекающем «случае» душевной жизни этой безмятежной страны вовсе нет. Все дело в том, что подлинно ценна, значима, по мысли Фета, лишь та грань перспективы, где начинается динамика, движение, перебои и смещения, переплетения планов. Тот слишком давний пласт пребывает в спокойствии, там еще нет жизни; жизнь начинается со стыка: «сладостно» и «больно». Этот стык повторяет подлинный смысл первой строфы: «сладостно» и «плачу». Конечно, в первой строфе герой плакал от умиления. Но когда происходило все это, было больно.

Уход во временную перспективу усложняет и углубляет представление о противоречивости жизни и чувства. Еще большая детализация, еще более пристальный анализ «земли обетованной» в третьей строфе дает еще большее обострение противоречивости; одновременно еще сильнее контрастность двух планов — «пейзажа» и «души»:

По сжатию руки, по отблеску очей,
Сопровождаемым то вздохами, то смехом,
По ропоту простых, незначащих речей,
Лишь нам звучавших страсти эхом.

Сама «обетованная земля» — не только ее изображение — оказалась двуплановой. На поверхности были «простые, незначащие речи», под ними же была осознанная, но не смеющая вслух сказать о себе страсть.

Есть в стихотворении контрастность местоимений: в первой и второй строках фигурируют «ты» и «я», в третьей — «мы». На деле же в стихотворении нет ни «тебя», ни «меня», ни «нас». «Ее» образ не то что заслонен, он слит с рельефным пейзажем «земли обетованной» — аналитически раскрываемого этапа любовной эмоции, как и почти всегда у Фета. Контрастной игрой временных планов «я» превращено в своеобразный наблюдательный пункт этих переливов, перебоев, переходов страсти из одного состояния в другое. Финальное «мы» вполне безлично и только выявляет, что подлинным героем стихотворения стала страсть сама по себе, страсть как таковая.

Нельзя не согласиться с современниками, считавшими, что в поэзии Фета почти отсутствует личное начало: «вообще личная, внутренняя жизнь — очень мало дает ему поэтических мотивов» (Боткин).

Сам Фет говорил о «поэтической зоркости» как о главном начале художественной деятельности. Пристрастное наблюдение за изменениями, превращениями, противоречиями душевной жизни, жизни чувства, как такового, мелочи этой жизни, своего рода «обиход» этой противоречивости («сжатие руки», «отблеск очей», «вздохи» и «смех») — вот что составляет одну из характернейших черт поэзии Фета. Фет как бы стремится дать в своем стихе в аналитически расчлененном виде «элементарные частицы» эмоциональной жизни человека во внутренней логике их взаимодействия, их соотношений.

В этом анализе чувства современники видели важнейшее преломление тяги Фета к «обыденности», «повседневности». Боткин говорил о стремлении поэта передавать «эфирные оттенки чувства», Дружинин — о том, что «туманнейшие моменты нашей жизни разъяснены» у Фета. Критики-либералы и здесь, несколько переиначив, повторяют то, что впервые сформулировал Ап. Григорьев, говоривший, что для Фета характерна «способность уловлять в высшей степени тонко и музыкально впечатления, которых вся прелесть заключается в их неопределенности». Суть даже не в самих ощущениях, оттенках и переходах чувств, но в том, что они вошли в поле художественного внимания, исследуются и анализируются. Представлявшееся ранее единым и цельным чувство расчленяется, раздробляется на этапы, изучается и воспроизводится в его аналитически установленной «диалектике».

Такую тенденцию нельзя не связать с историческими особенностями и закономерностями переходной эпохи, эпохи «умственной работы», поисков новых способов изучения и воспроизведения человека и действительности. В письме к Фету уже в шестидесятые годы И. С. Тургенев писал: «Ты желаешь под каждое чувство подкопаться, все обнюхать, разорить, расколотить, как орех, — валяй!» Возможность такой эстетической программы не может рассматриваться как индивидуальная прихоть. Тут неизбежны литературные аналогии, сходные поиски, разрешающиеся иначе, причем литературные программы не носят самодовлеюще-

го характера, под ними таятся процессы общественного самоопределения разных художников.

Известный исследователь Фета Б. Я. Бухштаб в своих работах неоднократно указывал на одну из таких аналогий — притом, безусловно, самую существенную — на поиски «диалектики души» в раннем творчестве Л. Н. Толстого. В границах эпохи такой подход воспринимался и как своего рода «деловая» запись фактических событий душевной жизни. Ап. Григорьев поначалу воспринял «Детство» Толстого как реальные мемуары, документальный, жизненный, но не литературный факт. Но тот же Ап. Григорьев уловил особенный характер художественных намерений Толстого, как только они выяснились. В письме к Фету от 4 января 1858 года Ап. Григорьев писал: «Толстой, — вглядываясь в его натуру сквозь его произведения, — поставил себе задачею, даже с некоторым насилием, *знать* музыкально-неуловимое в жизни, нравственном мире, искусстве. В этом пока его сила, в этом его и слабость». Это значит, что уже современники проводили аналогию между Фетом и Толстым, стремясь понять сходства и различия в их подходе к современному человеку.

«Диалектика души», анализ переходных состояний внутренней жизни, аналитическое расщепление чувств не являются у Толстого последним словом о современном человеке, но только способом его исследования. «Умственная работа» эпохи для Толстого на этом не кончается. Суть дела в том, какие нравственные выводы можно далее построить на основе этого исследования человека.

Поэтому анализ душевных состояний сочетается у него, скажем, в «Севастопольских рассказах» с прямо очерковым и документальным материалом, и одно нимало не противоречит другому в смысле логики идейного задания. Огрубляя несколько положение, можно сказать так, что методы «натуральной школы» применяются к разным граням жизни. Документализму общего описания соответствует пристальное, чуть ли не клиническое, «натуральное» исследование душевной жизни. Поэтому несколько не противоречит ни общему заданию, ни традициям литературы предшествующего периода подхватывание и развитие несколько более ранних литературных традиций при анализе душевной жизни, скажем опыта Стерна или Руссо, их «мелочности» и «дробности» в психологическом рисунке. То, что у Гоголя или Лермонтова — явления русской жизни и характеры людей — дано в крупных и резких очертаниях, сейчас надо исследовать еще более детально, разглядеть еще более пристально. Помощь в этом может оказать «микроскопический» анализ Стерна, и только, поэтому никакой это не «арханизм» у Толстого, а сложное, в соответствии с движением эпохи, продолжение традиций Гоголя и Лермонтова.

Иначе все это можно сформулировать так: у Толстого нравственный элемент всегда входит в образную ткань произведения, неотделим от других сторон анализа души, у Фета структура образа не только не предполагает, но и исключает возможность органического включения морального

начала в произведение. «Гнать музыкально-неуловимое» в отношении Толстого — означает быть в искусстве нравственно требовательным (иначе сказать — общественно требовательным) к изображаемым людям и событиям. В конечном счете именно в методах, способах подхода к человеку глубже всего сказывается общественная позиция художника. В односторонней поэтизации «музыкально-неуловимых» или стихийных начал в человеческой психологии тоже заключена определенная социально-историческая трактовка личности, а через нее и исторической эпохи. Возможны разные по сути и цели пути исследования «диалектики души».

Фет пришел к изображению «музыкально-неуловимого», то есть переходных состояний душевной жизни, гораздо ранее Толстого. Фет созрел как поэт необычайно быстро. Он очень рано нашел способ анализа душевной жизни через сложные сплетения ее с «природным рядом». Когда о Фете говорят, что он прежде всего поэт природы, мастер пейзажа, — упускают из виду то обстоятельство, что подлинно фетовское начинается там, где тонкий анализ природной жизни содействует раскрытию душевной диалектики. Любой живописный пейзаж, если он заслуживает зачисления в область искусства, будь это даже фотография, выполненная подлинным мастером, содержит в себе определенную концепцию человека. Там, где «пейзаж» не содействует показу «души», Фет часто беспомощен. Сам способ изображения «я» и «пейзажа» у Фета таит в себе определенную об-

щественно-историческую трактовку человека. Подлинная жизненность, лирическое волнение у Фета — там, где эмоция, человеческие переживания проверены, узнаны через природу. Человек Фета «природен», и «красота» его сопричастна природной жизни. В этом смысле Фет — сын своего времени, и его художественное открытие является какой-то частью общей «умственной работы» эпохи. Л. Н. Толстой до определенного момента, до большого перелома восьмидесятых годов, любил поэзию Фета не за абстрактное «мастерство пейзажа», но потому, что находил в поисках Фета частичное (очень неполное, конечно) соответствие своим собственным поискам. Одной из задач эпохи было найти «природность диалектики души». Ап. Григорьев относил Фета к «болезненной поэзии», что на наш сегодняшний слух звучит несколько странно. Ап. Григорьев писал, что «невольно приходит в голову сближение этой поэзии, в общих чертах ее и в мирозерцании, с тем, что мы в повествовательном роде называем натуральной школою». Отрицательно оценивая подобную тенденцию «в повествовательном роде» и несколько более снисходительно относясь к ней в поэзии, критик стремился понять, в чем же она — «явление историческое», каковы ее корни в эпохе.

Изображение «неопределенных, недосказанных, смутных чувств» в лирике, так же как и несколько позднее в прозе, связано с обращением — через голову непосредственных предшественников — к более старой поэтической традиции. Б. М. Эйхенбаум в «Мелодике стиха» показал, насколько тес-

но связан Фет в своих композиционных приемах с поэзией Жуковского. Б. М. Эйхенбаум произвел чисто формальный анализ построения стиха у Фета и доказал, что относительно простое мелодическое построение Жуковского превращается здесь в развернутый интонационный рисунок, охватывающий все стихотворение, где поэт «преодолеет строфику, развивая целые стихотворения на движении одной фразы или сливая строфы в один период».

Построение стиха на вопросительных, восклицательных и вообще на эмоционально подчеркнутых интонациях соответствует дробности психологического анализа в прозе, у Толстого. В русском стихе был уже развернутый психологический рисунок — у Пушкина, Баратынского, Лермонтова. Возвращаясь к мелодической композиции Жуковского, Фет обходит своих прямых предшественников, строит свой психологический рисунок в стихе совсем иначе, не возвращаясь к найденному ими. Происходит это потому, что Фет считает нравственную и общественную характеристику человека неуместной и невозможной в поэзии.

Можно было бы объяснить подобную остановку на полпути наивно биографически. Быстро созрев как поэт, Фет остановился, «законсервировался» на своих находках. Биографически это соответствует тому, что на военной службе, в глухой провинции, старательно пытаясь выслужить себе дворянство, Фет, как он прямо признается в своих мемуарах, почти перестал писать стихи. Не стоит игнорировать биографию вообще, — конечно,

трудно было духовно развиваться в тех условиях, в какие поставил себя Фет; биография Фета тесно связана с его творчеством — но особым образом. Решающую роль играло социальное самоопределение Фета. Общественное не могло и не должно было входить в стихи потому, что для Фета дело было не в том, что социальный уклад плох, а просто в том, что он, Фет, неудачно помещен в обществе, — это само по себе к стихам не имеет касательства.

Парадоксальность ситуации в том, что такая социальная позиция все-таки отразилась в стихах, как бы Фет это ни отрицал. Единство фетовского стиха покупалось ценой подчеркнутого отсутствия в нем обобщения. Буквально все современники Фета, к голосу которых стоит прислушаться, сетуют на то, что в фетовском стихе нет ясных поэтических выводов, нет сколько-нибудь мотивированных чем бы то ни было, кроме «музыки почувств», переходов между разными планами. Грубее и резче всех выразил это Сенковский: «А мне так все тут непонятно... я не понимаю связи между любовью и снегом...» Дружественно настроенные современники находят у Фета своего рода «душевный натурализм» — не контролируемую обобщением, непосредственную запись впечатлений.

На деле, конечно, все обстояло сложнее; разные планы у Фета связаны между собой хотя бы «музыкально», — это и есть свойственный ему на данном этапе тип художественного обобщения. Этот тип обобщения современники находят недо-

статочным, неполноценным. Характерное своеобразие общественно-исторического человека различается здесь только в самой особенности изображаемых переживаний, в прихотливой логике чувства. Недоразумения между Фетом и его критиками-современниками, очевидно, кроются во многом именно в этой завуалированности обобщения. Как бы извиняясь за Фета, современники-друзья говорят о его «младенчески-простодушной» поэзии, но они же вынуждены говорить и об «ограниченности сферы его». Фетовский художественный метод ограничивает, прежде всего, возможности охвата жизни почти исключительно темами природы и любви. Далее, он обуславливает отсутствие прямых и непосредственных связей между отдельными стихотворениями. При всем однообразии — или, напротив, благодаря ему — стихи Фета не перекликаются прямо одно с другим, не связываются в циклы. А между тем цикличность уже зарождалась в современной Фету поэзии. Пюд цикличностью здесь понимается наличие в ряде стихотворений особых (иногда — прямых сюжетно-тематических) связей между отдельными стихами, образующими в итоге внутренне цельные звенья — циклы или даже сборники. В этом смысле цикличность у Фета отсутствует полностью. В своих мемуарах и предисловиях к книгам Фет довольно наивно признается, что циклически собирал его стихи по ранним публикациям (а также для сборника 1850 года) Ап. Григорьев: «все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозва-

ниями производились трудами Григорьева». О том, что подлинной причиной в данном случае является отсутствие прямых обобщающих связей между стихами, свидетельствует хотя бы характерное для Фета отсутствие смыслового ощущения стиховых жанров. Так, в сборнике 1856 года и в издании 1863 года первым разделом идут «Элегии». В этом разделе собраны внешне наиболее обобщающего типа стихотворения. Если вспомнить, какие бои велись в двадцатых годах вокруг элегии — жанра, мало допускающего прямое поэтическое обобщение (достаточно напомнить здесь о литературной борьбе Кюхельбекера), станет ясно, насколько формальна и неорганична циклизация, проводимая Фетом и его редакторами.

Циклическое расположение стихов у Фета носит условный, приблизительный, подчас формально-тематический характер, потому что нет четких внутренних границ между разделами. Наиболее резко выражено типично «фетовское» в своеобразном жанре «мелодии», созданном поэтом. Но к «мелодиям» тяготеют по своему построению и стихи других разделов. Стихи Фета переплещиваются через условные границы разделов. Есть только одна резко выраженная граница внутри потока фетовских стихов первого периода, ясно выделявшаяся и в восприятии современников, — граница эта носит содержательный, а не формальный характер. Это — граница между «мелодическими» стихами и стихами, тяготеющими к «антологической» теме. Чаще всего «антологические» стихи Фета изображают античные ситуации

и героев; современная тема решается чаще всего «мелодически». Но есть и стихи современной темы, решаемые «антологически». Поэтому Ап. Григорьев говорил о «двух сторонах, двух способностях» таланта Фета, а не просто о стихах «антологической» и «современной» тем. Современники шумно восхищались (в тех случаях, когда они признавали Фета) как раз его «антологическими» стихами. Можно усматривать в этом и нечуткость к «новаторской» линии в творчестве Фета. По существу же, в этом есть своя внутренняя логика, далеко не всегда свидетельствующая о художественном консерватизме.

Дело в том, что в «антологических» стихах Фета мы как будто бы вступаем в мир совсем иных героев, пейзажей, внешних форм и очертаний. Ап. Григорьев, сопоставляя решение античной темы у Майкова и Фета, и в том и в другом случае явно противопоставлявшей «гражданским» мотивам современности, писал: «У г. Майкова преобладают грация и изящество, подчас несколько холодное; у г. Фета — сила и энергия». На смену обычным для Фета музыкально-нечетким ситуациям, «неуловимым оттенкам чувства и страстей», в антологических стихах появляются ясные и даже по-своему яркие страсти. Показательно, что, скажем, любовная эмоция в стихах «антологической» линии часто изображается как прямо выраженное физическое желание (см. «Вакханка», «Сон и Пасифая») — вещь, в фетовских «мелодиях» просто немыслимая. Белинский и его окружение (об этом говорилось выше) толкали

Фета на то, чтобы он открыто выступил как продолжатель пушкинских методов в стихе, и задатки этого усматривали именно в «антологической» линии фетовской поэзии. Практически это означало бы единство современно-изобразительных и обобщающих элементов в стихе, а также единство общественно-исторического и лирического начал. Фет пошел иным путем. Отделяя «душу» в ее «природности» от общественных коллизий, Фет неизбежно, логикой вещей приходил к тому, что в пределах «современной» линии стиха невыявленным, аморфным представал его художественный идеал, «желаемый» человек и его отношения или, иначе сказать, обобщающие начала в стихе. Получалось так, что художественно-обобщающие, «идеальные» элементы как бы сами собой выделялись в отдельную творческую линию. Конечно, в этом есть разительное, вопиющее художественное противоречие. «Сила и энергия», если пользоваться словами Ап. Григорьева, и прихотливая «диалектика души» предстают порознь, как совершенно разные и даже несоприкасающиеся стихии. «Обход» пушкинской линии получился относительным. В стихах «современной» темы Фет воспроизводит и даже доводит до парадокса линию Жуковского, отстраняясь от пушкинских традиций. В «элегиях» и особенно в «антологических» стихах Фет пытается воспроизвести пушкинскую «классичность» и «гармонию», но часто лишает их психологического рисунка.

Таким образом, разделение «мелодической» и «антологической» линий в творчестве Фета опре-

деляется прежде всего особенностями содержания; в нем сказывается свойственная содержанию противоречивость. Это обстоятельство оказалось непонятым критиками; приближался к его пониманию Ап. Григорьев. Глубже всех проник в смысл противоречий, раздиравших «безмятежную» по видимости поэзию Фета, Ф. М. Достоевский, увидевший в его античной теме стремление выразить свой общественный идеал человека и тем самым дать в прямой форме обобщающие жизненные начала в поэзии. В античной теме может сказаться «присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития», — тех именно начал, которых Фет не находит в современности, поэтому вместо прямо выраженных современных идеалов у него появляется «прошедший идеал» человечества; относиться к этому идеалу следует, по мнению Достоевского, «не naïвно, а исторически». Признав закономерным появление «прошедшего идеала», в силу противоречивости мировоззрения современного поэта, Достоевский дает оценку этого «прошедшего идеала», разбирая стихотворение «Диана», единодушно признававшееся современниками вершиной антологической линии в поэзии Фета. Анализируя «Диану», Достоевский приходит к выводу: «Сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме поэта!» Мысль Достоевского развита очень сложно, но главное в ней то, что античному идеалу, античной богине «не надо воскресать, ей не надо жить...». Получается так, что «мучительная грусть» истекает оттого, что обобщающе-идеальное на-

чало найдено только в невоскресимом прошлом. Фет сам не верит в свой собственный идеал «силы и энергии».

Реальная противоречивость творчества Фета даже сложнее, чем представляется Достоевскому. Стихотворение «Диана» строится на обычном для Фета параллелизме природного и душевно-человеческого начал. Однако есть здесь и необычная особенность. На фоне «трепещущей» жизнью природы изображена статуя. Природа в стихотворении подчеркнута «живет»:

Но ветер на заре между листов проник;
Качнулся на воде богини ясный лик...

Обычно у Фета «трепету природы» отвечает согласный «трепет души». Здесь совсем иначе. Трепещет не душа и даже не статуя, а ее отражение в воде, иначе говоря — отражение отражения. Получается не параллелизм и конечное согласие, соответствие, но — контраст, противостояние. «Диалектике природы» противостоит изображение, занимающее свою изменчивую подвижность от самой же природы. Не то чтобы здесь не было «диалектики души», — вся прелесть стихотворения в том, что оно все — о душе, но сама душа здесь перебралась в изображение и потому стала «непостижимой», мертвым мрамором, неподвижным слепком вечно изменчивого. «Идеал» оказался не жизнью, а ее изображением в «вечной», но иллюзорной — сотворенной красоте. «Сила и энергия» оказались на деле искусной выдумкой, тенью

тени. Несмотря на осложненность, завуалированность способа выражения безукоризненной «классичностью» формы, в «Диане» содержатся обобщенно-пессимистические выводы относительно общественной сущности человека. Такую откровенность Фет мог позволить себе до пятидесятих годов только в косвенном выражении, и она, конечно, связана с общественной позицией поэта, хотя сам Фет настаивал на обратном.

Общественная обстановка, складывающаяся в пятидесятые годы, после Крымской войны, вынуждает Фета к более открытому общественному самоопределению. Убедившись в невозможности достичь дворянского звания и материально обеспеченной жизни на военной службе, Фет выходит в отставку в 1858 году. Еще до этого, служа в гвардии, в окрестностях Петербурга, Фет сближается наконец с влиятельной группой литераторов — буржуазно-дворянским либеральным кружком, определяющим до второй половины пятидесятых годов направление журнала «Современник».

Фет быстро находит общий язык с этой либеральной группой из редакции журнала. Пропаганда либералами теории «чистого», отделенного от гражданских нужд искусства, естественно, находит отклик у Фета.

В этом кружке рождается идея нового издания стихов Фета. Как об этом говорилось выше, либералы находили, что стихам Фета присуща «импровизация», не контролируемая обобщающими художественными принципами запись непосредственных жизненных впечатлений и ощущений.

Особенно натуралистически засоренным и не-
внятным считался язык Фета.

С целью гармонизации, большей художествен-
ной обобщенности предпринимается чистка стихов
Фета для нового издания, главную редакторскую
роль при этом играет И. С. Тургенев, с которым
особенно сблизился Фет. О целях и задачах, ко-
торые ставились кружком при этой чистке, рас-
сказал А. В. Дружинин в своей рецензии на тур-
геневское издание. Говорится в ней, что прежде
среди стихов Фета было множество и таких, «в
которых прелестная поэтическая искра чуть брез-
жит посреди тумана и нестройного хаоса», в но-
вом же издании «нет произведений слабых или
недоделанных». Сам Фет смотрел на дело иначе.
Фет считал, что, согласившись на эту чистку, он
не смог противостоять групповому давлению —
«один в поле не воин» — и что «издание из-под
редакции Тургенева вышло настолько же очищен-
ным, насколько и изувеченным». Так Фет писал в
своих поздних мемуарах; у нас нет оснований ду-
мать, что в пятидесятые годы он иначе оценивал
редактирование его стихов. Это значит, что отче-
ливо выявившуюся к середине пятидесятых годов
внутреннюю противоречивость своей поэтической
системы Фет вполне сознавал и отстаивал.

4

К концу пятидесятых — началу шестидесятых
годов, в связи с обострением кризиса крепостни-
ческого строя и революционной ситуацией в стра-

не, происходит резкое размежевание общественных сил и в области литературы. Фет много печатается в «Современнике», крупнейшем журнале эпохи. После своего возврата к поэтическому творчеству он, видимо, снова хочет стать профессиональным литератором. Однако к концу пятидесятых годов становится ясно, что на страницах «Современника», все более и более явно превращающегося в орган революционной демократии, поэзия Фета неуместна. Одной из острых проблем, в решении которых особенно явно сталкивались различные общественные точки зрения, был в ту пору вопрос о роли художника в социальной жизни, о соотношении искусства и действительности. В начале 1859 года Фет выступает на страницах только что начавшего выходить журнала «Русское слово» с необычайно резкой по тону и аргументации статьей о поэзии Тютчева, где в воинственно-полемической форме отстаиваются идеи отрешенности искусства от жизни, «искусства для искусства». Это был в своем роде вызов. Позиция революционного крыла «Современника», становившегося господствующим в журнале, была уже достаточно ясно выражена. Либеральная часть редакционного круга «Современника» склонялась к точке зрения «искусства для искусства». Много позднее в письме к И. С. Тургеневу Фет писал: «Сошлись мы с Вами вследствие тождества не социальных, а художественных инстинктов». Социальные взгляды Фета, очевидно, уже в пятидесятые годы были гораздо правее, чем у либералов, — этим, вероятно, и объ-

ясняется полемическая обостренность формулировок в его статье.

Прямой разрыв Фета с журналом революционной демократии произошел после появления на страницах «Современника» большой статьи М. Лавренского (Д. Михаловского) о фетовском переводе «Юлия Цезаря» Шекспира. Фет-переводчик, конечно, не идет ни в какое сравнение с Фетом-поэтом. В статье «Современника» с необычайной язвительностью продемонстрированы промахи (или даже «халтурность») перевода. Сам Фет, чересчур поспешно выполнявший в ту пору свои литературные работы, говорил потом, что его переводы представляли для «труженика-переводчика *насущенный хлеб*». Суть дела была, конечно, не в ошибках перевода. Через всю рецензию М. Лавренского проходит резкая полемика с декларативной статьей Фета о Тютчеве, прямые ошибки перевода издевательски объясняются позицией Фета-теоретика. В ироническом контексте статьи пояснено к тому же, что если в журнале в эпоху преобладания в нем либералов «порывистый лиризм» Фета находил сочувствие и поддержку, то сейчас все обстоит совсем иначе.

Итоги полемики подвел Н. А. Добролюбов (видимо, с этой дискуссией связано известное сопоставление Фета и Тютчева в статье «Темное царство»). Слабость Фета не в его стилистических погрешностях и даже не в его теориях, а в идейном существе его поэтической практики — такова мысль Добролюбова. Он противопоставляет Фета Тютчеву, тем самым сознательно обнажая

подлинный общественный смысл статьи Фета. Защитникам «чистой поэзии» бесполезно обращаться за поддержкой к Тютчеву; несколько не смущаясь славянофильскими симпатиями Тютчева (как и всегда в подобных случаях — это характерно для Добролюбова), глава революционной демократии утверждает, что в стихах Тютчева есть «глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни». Тютчев на деле, а не на словах иначе относится к русской жизни и ее действительным коллизиям, чем Фет. Подлинная цена произведений искусства — мера раскрытия в них (или утаивания) реальных противоречий жизни: «В показании всего этого и должна бы, собственно, заключаться оценка таланта обоих поэтов». Постановка Тютчевым нравственно-общественных вопросов, по смыслу общего построения статьи Добролюбова, помогает постичь внутренние противоречия старой России, чего никак нельзя сказать о Фете. В художественной позиции Фета Добролюбов усматривает реакционные тенденции.

В обстановке общественной напряженности, сопровождавшей крестьянскую реформу, Фет все больше и больше шел вправо. Как поэт он оказывается несвоевременным, «неудобным» в больших количествах даже для «Русского вестника». Характеризуя свое литературное положение в таком программном документе поздней поры, как предисловие к 3-му выпуску «Вечерних огней», Фет писал о «тяжелых временах» своей Музы и об «остракизме», которому его подвергли шести-

десятники, пытался объяснить этот остракизм тем, что «в сущности люди эти ничего не понимали в деле поэзии». Фет оказался фактически выброшенным из литературы на долгие годы, но не потому, что его, безвинного, кто-то преследовал, а потому, что в сложившейся обстановке он занимал такую социально агрессивную позицию, которая не могла не вызвать протеста, отчуждения и отпора.

Как и в первый период деятельности, литературная работа Фета тесно связана с его житейскими делами и — что ново для него — с крайне резкими публицистическими выступлениями. Еще до отставки Фет женился на сестре критика В. П. Боткина, М. П. Боткиной, принадлежавшей к богатой московской купеческой семье. Оказавшись не в состоянии обеспечить себя литературным заработком, Фет в 1860 году покупает имение и становится помещиком. В связи с этим В. П. Боткин писал Фету: «А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоём практическом смысле». Хозяином Фет оказался «хорошим», и «практический смысл» ему очень помог. Именно в качестве «хорошего хозяина» в новых, пореформенных, условиях Фет и выступает как публицист.

Говоря об особенностях литературы пореформенного периода, о неизбежном проникновении в нее современных проблем, вплоть до непосредственно политических и экономических вопросов, М. Е. Салтыков-Щедрин писал в 1879 году: «Но теперь ты не найдешь двух литераторов, которые

решились бы беседовать о розах и соловьях, и даже те, которые когда-то считались мастерами в этом роде, — и те ныне пускают шип по-змеинному».

Серия очерково-публицистических произведений Фета: «Заметки о вольнонаемном труде» и «Из деревни», печатавшихся начиная с 1862 года в «Русском вестнике» и вызвавших взрыв негодования, — воспринималась современниками именно как «шип по-змеинному». Парадоксальное сочетание в одном человеке лирика, отстраняющего из своих стихов все общественное, и трезво-расчетливого землевладельца, публично пекущегося о своих доходах, стало предметом обсуждения в прозе и пародий в стихах:

Когда табун соседних лошадей
Топтал мой хлеб, — увидя то с балкона,
Стал плакать я, как плакал иудей,
Лишенный стен родимого Сиона.

Не менее выразительно рисовал ситуацию на страницах «Современника» Щедрин: «Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это для тиснения отправляет в „Русский вестник“».

Щедрин указывал на одну особенность публицистики Фета, много объясняющую в поднявшемся вокруг нее шуме: «Вы ставите вопросы откоро-

венно и не запутываете их». Но эта же прямолинейная, своекорыстная «искренность» многое объясняет и в самом Фете, в своеобразной логике его творческого развития. Фет не ставит себя в положение человека, противящегося крестьянской реформе. Напротив, он заявляет себя сторонником ее. Он только хотел бы внести некоторые поправки в реформу и дополнить ее кое-какими мероприятиями в государственном масштабе. В реформе, по мнению Фета, есть два существенных недостатка: «обязательный труд» (то есть остатки чисто крепостнических отработок, по мнению Фета, в наличных условиях неосуществимых) и «поземельный надел» (то есть наличие у крестьян душевой земли, затрудняющее беззастенчивую эксплуатацию их на условиях вольного найма). Реформа должна дать «эманципацию личности и эманципацию труда, что почти одно и то же». Фет понимает, что «душевой крестьянский надел» не может «прокормить отдельного человека». Иначе говоря, он хотел бы, в качестве идеала, полностью обезземелить крестьян. В экономических теориях Фета слышен голос землевладельца нового типа, землевладельца-буржуа.

Отчасти в связи с творчеством Фета Щедрин говорил о «мотыльковой школе» в русской поэзии, но он же в другой связи писал о том, что «и на песне лежит печать общего строя жизни». То отношение к «общему строю жизни», которое Фет высказывал в своей публицистике, он в стихи не вносил, именно потому они и получались «мотыльковыми».

Уходя фактически на долгие годы из большой литературы, в качестве итога Фет заново выпустил свои стихи двумя книгами (изд. К. Солдатенкова, 1863). Рецензией на это издание откликнулся Щедрин в «Современнике». Так же, как и Добролюбов, Щедрин нисколько не отрицает талантливости Фета. Напротив, он говорит о том, что фетовские романсы «распевает чуть ли не вся Россия» и что «в любой литературе редко можно найти» стихотворение такой свежести, как «Шепот, робкое дыханье...». Вместе с тем Щедрин отмечает, что даже стихотворение такой художественной законченности, как «Шепот, робкое дыханье...», становится сомнительным, если вам его «представят в нескольких стах вариантах». Речь идет о повторяемости раз и навсегда найденной художественной схемы. Эту повторяемость можно связать с отсутствием в стихах Фета четкого художественного обобщения, с односторонним изображением переходных душевных состояний, с тем, что в его стихе «нет ясной и положительно сформулированной мысли, а есть робкий, довольно темный намек на нее». Щедрин в резкой, отчасти иронической форме указывает Фету на то, что в его стихах отсутствует, если пользоваться словами Добролюбова, «глубокая дума», нравственно-общественные выводы.

Все последующее развитие поэта показывает, что хотя Фет и делал вид, что его несправедливо подвергли «остракизму» люди, которые «ничего не понимали в деле поэзии», — он трезво учитывал раздававшиеся со всех сторон упреки в от-

*

сутствии обобщающего элемента в его стихе. Следующая книга стихов Фета появилась только в 1883 году, через двадцать лет. Сохранив в основном те же разделы, что и в старых изданиях, Фет первый раздел назвал «Элегии и думы». Здесь появляется ряд вещей несколько нового для него типа: стихотворения с ясно и откровенно выраженным обобщающим заданием, стихотворения философской темы. Фет явно стремится внести в свою поэзию «глубокую думу». Если молодой Фет был равнодушен к философским теориям немецкого идеализма, увлекавшим «людей сороковых годов», то в зрелом возрасте он нашел философское подспорье для своих размышлений в системе Шопенгауэра.

С вызывающей прямолинейностью отстаивая во второй период своего развития теорию «искусства для искусства», Фет вообще полагал, что в художественном произведении может присутствовать философская мысль только определенного типа: «чем общей поэтическая мысль... тем она поэтичней». Именно таким сбланием общих мест философского идеализма во многом является философия Шопенгауэра, несмотря на часто высказываемое ее автором презрение к своим предшественникам. Здесь используется и Кант, и Платон, и индийская философия; из непосредственных предшественников — Шеллинг.

Шопенгауэр делит мир на «волю» и «представление», что, несомненно, представляет собой повторение кантовского деления на «вещь в себе» (объективный мир) и на мир познающего субъек-

екта, для которого реальность только умопостигаема, но подлинному постижению недоступна. Новыми здесь являются два момента. Во-первых, у Шопенгауэра эти два мира не разделены между собой непроходимой гранью, но переплетаются между собой в некоем относительном «тождестве», что представляет собой во многом вульгаризованное повторение Шеллинга. Для самого Шопенгауэра это открывает путь к прямым истолкованиям жизненных явлений через «волю» (скажем, биологическая трактовка личности человека) и «представление» (скажем, истолкование музыки и вообще искусства как непосредственного отражения «воли» в «представлении»). С этим связана и вторая новая черта философии Шопенгауэра — его попытки прямо связать философию с данными опытных наук, с естествознанием. Эти особенности философии Шопенгауэра оказали большое (часто неосознававшееся) воздействие на последующее развитие буржуазной мысли вплоть до современных экзистенциалистов. Фета философия Шопенгауэра буквально потрясла — ему казалось, что он нашел в ней четкое, строго оформленное выражение своих собственных взглядов на жизнь в форме «общих мест», своего рода «философии жизни».

Шестидесятые — семидесятые годы — эпоха исторических действий, требующая определенной и четкой социальной позиции, неотделимой от идейных побуждений к действию. Единство мировоззрения и социальной практики представляется в

эту эпоху само собой разумеющимся. Фет вынужден силой исторических обстоятельств открыто изложить свою «программу». Практическим воплощением того идеала «красоты», с которым Фет пытался обращаться к шестидесятникам, оказалась... помещичья усадьба.

Фет скорее соглашается расширить начало «природности» в стихе до масштабов вселенной, чем попытаться социально-исторически конкретизировать психологию лирических героев, — и в этом, конечно, была скрыта особая трактовка общественно-исторических отношений. «Думы» Фета, призванные в общей массе его новых стихов дать «обобщающие» узлы, придающие философскую широту всей картине в целом, часто строятся на том, что психологическая коллизия приобретает космический характер. Так, скажем, в стихотворении «Измучен жизнью, коварством надежды...» явственно проступает обычный для Фета параллелизм двух рядов — природного и душевного. Соотношение их должно дать ощущение согласованности, своеобразной «гармонии» общей жизни природного целого и единичной жизни души. Ново здесь и то, что вместо привычной для фетовских стихов конкретно-пейзажной картины, возникающей из зорко подмеченных реальных деталей, строится по-своему грандиозный образ вселенной, «солнца мира». В согласии с эпиграфом из Шопенгауэра подчеркивается, что образ этот иллюзорен, что он создан «представлением»:

И только сон, только сон мимолетный.

Ясно выраженное идеалистическое задание не исчерпывает реального поэтического содержания стихотворения, обладающего несомненной силой художественного воздействия. Она кроется в новом для фетовской лирики качестве — драматизме построения лирического «я». К гармонической концовке («Легко мне жить, и дышать мне не больно») герой стихотворения приходит через ряд жизненных тревог, сомнений, колебаний. В стихотворении есть и своего рода «пейзажный» ряд в прямом виде — образ темной осенней ночи, воплощающий обычные тревоги жизни, ночи, прорезаемой зарницами. Зарницы уподоблены «солнцу мира», умопостигаемому образу «идеальной вселенной». Однако главная сила тут не в конкретном пейзаже, да и конкретность его особенная. Главный параллелизм в этом сложно построенном стихотворении — параллелизм двух душевных состояний: обычного, полного всевозможных тягот строя души, и того особого подъема всех внутренних сил, который возникает внезапно от соприкосновения с чем-то подлинно высоким — с пейзажем ли, с затаенным ли переживанием. «Радость жизни» здесь возникает как результат драматического противоборства «стихий» души. Стихотворение может быть понято и конкретно-психологически, а не только как воплощение идеалистического тезиса, — в этом его подлинная художественность.

Несколько иначе построено стихотворение «Ничтожество». Здесь лирическое «я» поставлено лицом к лицу со смертью. Субъективистская идея

в духе Шопенгауэра образует наиболее композиционно ответственную вершину в сюжете вещи — ее кульминацию:

Ты — это ведь я сам. Ты только отрицанье
Всего, что чувствовать, что мне узнать дано.

Получается голый философский тезис, с которым охотно согласились бы современные шопенгауэрианцы — экзистенциалисты. Было бы невероятным обеднением реального психологического содержания произведения — прочитать стихотворение только так. В кульминации у Фета дана «сшибка» противоборствующих сил. «Природный ряд» воплощен в самом лирическом «я», в его конкретно-земном существе. Стихотворение начинается с «болезненных криков», которые издает человек, рождаясь, вступая в «условья первые земного бытия». Этим же земным криком кончается стихотворение. Кульминация, столкновение земного существа с «ничто», с небытием, — только один из этапов борьбы двух начал. За ней следует совсем не смирение перед «ничтожеством», но новая борьба:

А я дышу, живу, и понял, что в незнаныи
Одно прискорбное, но страшного в нем нет.

Параллелизм двух рядов у Фета, как и в первый период творчества, в сущности, разрешения не находит. «Обобщение» оказалось мнимым, но стих Фета перестал быть идиллически «жизнерадостным», обогатился сложным психологическим драматизмом.

Из стихов, не являющихся специально «думами» — особо выделенными философскими обобщениями, — наиболее заметно усиление драматизма в любовной лирике Фета. Особенно резко видно это в художественном переосмыслении любовных отношений с Лазич, происходящем через много лет после смерти самой героини. Так, скажем, вторую часть стихотворения «Измучен жизнью, коварством надежды...» представляет собой несомненно посвященное памяти Лазич стихотворение «В тиши и мраке таинственной ночи...», наполненное своеобразным трагизмом. Метафора «мрак жизни» конкретно воплощается в образ южной темной ночи, где над сиротливой одинокой могилой ослепительно горят звезды. В «звездном хоре» герою чудится взгляд «знакомых очей». Стихотворение начинается напряженно-философской интонацией: не забудем, что оно продолжает вершинную в философской лирике Фета вещь. Ощущение конкретности события все возрастает; в нем одновременно драматически раскрывается и философская тема. Последние строчки как бы воспроизводят поворот головы живого человека, так что буквально вздрагиваешь от достигнутой поэтом конкретности:

И снится, снится, мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

Только тут постигается и философский замысел: «красота» любви сильнее, победительнее ночного мрака.

В этой связи надо сказать несколько слов об основной особенности метафорических построений в стихах Фета. В нашей исследовательской литературе существует обычай — толковать поэтическую метафору в русской лирической традиции, идущей от Фета, как «преображение» или, попросту говоря, искажение действительности. Особо благодарный повод к этому усматривается в метафорах Блока:

Строен твой стан, как церковные свечи,
Взор твой — мечами пронзающий взор.

Такая трактовка блоковской метафоры представляется на первый взгляд убедительной потому, что образы эти трудно реализуемы, кажутся возникшими по произволу, по «романтической» прихоти поэта. Здесь не место ставить ни сложный вопрос о структуре метафоры вообще, ни вопрос о поэтике Блока. Надо указать только на спорность подобных толкований метафоры Фета. Вот стихотворение «Когда читала ты мучительные строки. . .», построенное действительно на метафоре «пожар сердца». В этом стихотворении можно обнаружить обычное для Фета соответствие двух рядов — душевно-эмоционального и предметно-природного. Воспоминание о «страсти роковой», о «звучном пыле сердца», навеянное «мучительными строками», пробуждает иное воспоминание: о том, как «в полночной темноте безвременно горя» — внезапно рождается на фоне темной степи заря. Далее безвременная заря ока-

зывается пожаром; картина внезапно возникшего пожара затем ассоциируется с заданной в первой строфе темой «роковой страсти», в которой тоже сгорает, испепеляется человек:

И в эту красоту невольно взор тянуло,
В тот величавый блеск за темный весь предел, —
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
Там человек сгорел!

Можно, конечно, читать это стихотворение как единую, развертывающуюся по поэтической прихоти, ни с чем реальным не связанную метафору, как набор стертых уже сейчас от долгого поэтического употребления образов. Можно — но не стоит. Дело-то ведь в том, что в самом стихотворении заложена не только возможность, но и необходимость иного чтения. Когда в «Анне Карениной» страсть героини ассоциируется со снежной метелью или отблесками пылающего в камине огня — это, конечно, метафоры. Но вся суть там в том, что это метафоры, требующие предметной реализации. Вы видите, и вы обязаны видеть (иначе вы просто неправильно воспримете Толстого), вполне реальную метель с крутящимся снегом и бросающимся в лицо ветром. Художественно неразделимы здесь обе стороны единого образа. От ветреного пейзажа вы необычайно остро чувствуете силу охватившего героиню «наваждения». От точной записи смятения Анны у вас обостряется восприятие метели.

В искусстве позднего Фета есть несомненные

соответствия с Толстым семидесятых годов, времени «Анны Карениной». Любовную ситуацию, прежде у него идиллическую, Фет теперь дает в ряде стихов в эмоционально-сгущенном, драматически обостренном виде. Образ пожара на фоне темной степной ночи в «Когда читала ты мучительные строки...» неслучаен. Ведь сама-то страсть в стихотворении совсем не идиллична, напротив — Фет хотел дать ее трагическое пылание. И по всему общему контексту фетовских стихов несомненно, что образ ночного пожара, будучи метафорическим, в то же время требует реального, но никак не условного чтения. Речь идет не только о «гибели от любви», но и о реальной человеческой смерти, так же как в подчеркнуто философском стихотворении «В тиши и мраке таинственной ночи...», конечно, условностью являются «звезды очей», но совсем не придуманной, не наспех сооруженной декорацией является образ сиротливо-одиноким могилы в ночной степи. Едва ли не памятью о Лазич навеян и этот шедевр фетовской лирики.

«Реализации метафоры», восприятию «природного ряда» как рассказа о сложно протекающем, динамически изменчивом, но достоверном событии содействует обычная для Фета, подчеркнутая «сиюминутность происходящего». Так, в стихотворении «Когда читала ты мучительные строки...» речь идет о происшествии давно минувшем, о пожаре, где сгорел человек, давно отпылавшем. Но он «вдвинут» в сегодня, этот пожар, тем, что о нем вот тут, сейчас, напоминается, рассказывает-

ся той, которая читает «мучительные строки». Именно эту роль играет мелодика вопросительных и восклицательных интонаций, на которой строится вся композиция стихотворения: «Не вспомнила ль о чем?» — в первой строфе; «я верить не хочу!» — во второй строфе, вводящей метафору зари — пожара; и, наконец, финал: «Ужель ничто тебе в то время не шепнуло? ..» Пожар должен восприниматься как действительное происшествие, заново переживаемое вот тут, сейчас, иначе весь сюжет вещи станет бессмыслицей. Но он есть вместе с тем и образ «роковой страсти» — метафора, и от нее, в свою очередь, пожар получает всю свою зловещую трагическую выразительность. Разница здесь, по сравнению со стихотворениями первого периода, только в трагедийном обострении динамики вещи, но сущность этой динамики та же. Как и прежде, только в более драматическом ключе, Фет стремится художественно исследовать «микроэлементы» реальной душевной жизни в их сложной внутренней закономерности и в их «природности».

Типично фетовские пейзажные построения во второй период даются часто в более динамически обостренном виде. Несколько сложнее в этом смысле обстоит дело с произведениями философской темы: так, в «Ничтожестве», например, труднее уловить динамику реального происшествия, чем, предположим, в стихотворении «На кресле отваясь, гляжу на потолок. . .», — но и в «Ничтожестве», и в еще большей степени в стихотворении «Измучен жизнью, коварством надежды. . .»

можно установить, что в сюжете вещи необычайно важна конкретная «точка жизненного пути», с которой обозревается некое «душевное событие». Философские стихотворения вообще играют особую роль во всем потоке позднего творчества Фета, — так же как особняком существовали в первый период стихи «антологической» темы, — роль выделенного «обобщающего момента».

Вместе с тем нельзя игнорировать и нарекания современников на «непонятность» фетовских стихов. Вот, скажем, Н. Н. Страхов, пропагандист поэзии Фета и читатель бесспорно достаточно квалифицированный, цитируя стихотворение «Долго снились мне вопли рыданий твоих...», признается, что стихи воспринимаются как «личные», и добавляет, что встречаются они «не без недоумения». Смущение вызывают строки:

Долго, долго мне снился тот радостный миг,
Как тебя умолил я — несчастный палач.

В недоумение приводит сочетание «радостного мига» и «несчастливого палача». Фет намеренно избегает фабульного прояснения сюжета стихотворения. Художественная суть тут, конечно, в том, что Фет хочет дать противоречивую логику любви. Наиболее «радостный миг» в ней, оказывается, причиняет героям глубокое страдание. Это страдание далее связывается с любовным расставанием: «Уносило меня в неизвестную даль». Фабульные реалии романа опускаются, потому что дело не в них, а в противоречивой логике самого

чувства. Фет по-прежнему стремится аналитически расчлнять психологию самого чувства, «разбивать» его, показывать его «текучий», противоречиво-сложный характер. Точно так же и в стихотворении «Когда читала ты мучительные строки...» есть сложный психологический подтекст, относящийся к теме соотношений красоты и реальной жизни: то, что в реальной жизни выступает как гибель, несчастье, страдание, — в искусстве может быть воспринято как необычайная, щемящая красота «безвременной зари». Этот аналитический подход обуславливает пренебрежение к фабуле, намеренное опускание каких-то звеньев сюжета, чтобы подлинный — психологический — сюжет выступил отчетливее именно в его «разорванности». Обрывы фабулы настораживают, ведут к «подтексту».

Но есть и другая сторона дела. В основе сюжета стихотворения «Долго снились мне вопли рыданий твоих...» лежат вполне реальные отношения Фета с Лазич. Стихи, конечно, нельзя истолковывать, «накладывая» их на биографию поэта. И все-таки соотносить их с биографией иногда нужно, для того чтобы постичь логику идейного замысла, вынуждающего Фета менять или опускать звенья «жизненного сюжета». В данном случае все последовавшие за романом с Лазич события жизни Фета достаточно ясно квалифицируются социально, исторически, их оценка не может быть индивидуально-психологической. Любовь к Лазич в стихах обобщена философски, трагически обострена, но, как и в прежних сти-

хах Фета, нет ни малейшего социально-исторического намека на то, почему героя уносило в «неизвестную даль». Поэтому фабульные неясности в стихах во многом ощущаются как намеренные и незакономерные. Такого типа неясностей нет, скажем, в той же «Анне Карениной», и это четко отделяет Фета от Толстого. И в этот период различие более велико, чем сходство. Оно не есть различие прозы и стиха, или не только это, — в первую очередь это различие идейных устремлений внутри самой художественной структуры.

Отстранение ряда фабульных ситуаций определяет не только «неясность» сюжета единичного стихотворения, но и отсутствие сюжетных связей между отдельными стихотворениями, отсутствие подлинной цикличности. Каждое стихотворение существует само по себе, со своей внутренней темой, чаще всего аналогичной теме соседнего стихотворения. При общей установке Фета на прозаическую достоверность «природного» ряда и заботе о психологической достоверности «душевного ряда» — получается опять зло отмеченная Щедриным похожесть одного стихотворения на другое, ощущение однообразия основного композиционного приема. Фет пытается снять это однообразие разными средствами.

Быть может, внешне наиболее резко сказывается стремление Фета изменить стих, обогатить его обобщением в тех вещах, где он пытается непосредственно соединить философскую мысль с обычным для него конкретным наблюдением — как пейзажно-предметным, так и психологическим.

Вот стихотворение «Ласточки». В нем как будто обычное для Фета изображение полета ласточек над самой водой «вечереющего пруда». Однако оно развивается и переходит не в традиционное для Фета сопоставление со столь же трепетно-подвижными деталями душевной жизни, но в некий философский тезис «общего порядка»: полет ласточек сопоставляется прямо и открыто с «вдохновением»; в финале мысль выражена уже без всяких опосредствований:

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

Здесь нет обычных для Фета переплетений, переходов, перебивов двух рядов, а просто два образа сталкиваются, что называется, в лоб, и получается так, что искомого художественного единства как раз и нет. Один ряд не обогащает другой, но скорее иллюстрирует его. Это — аллегория. Сама по себе аллегория — вовсе не запретный способ реализации темы в стихе. В конечном счете, чаще всего аллегорическим оказывается стих Тютчева, доставляющий читателю по сей день самую живую художественную радость. Аналогичные попытки Фета отзываются чужими художественными интонациями. Стихотворение «Ласточки» напоминает тютчевских «Лебедя» или «Фонтан». Но почему там, у Тютчева, было высокое искусство, а здесь всего лишь более или менее умелый слепок?

Вот завершающие строчки из стихотворения Тютчева «День и ночь»:

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

Совершенно ясно, что «ночь» здесь воплощает «темные» стороны человеческой души, и сказано об этом как будто бы аллегорически явно, прозрачно, — так же, как и у Фета. Но там сентенцией о вечной обманчивости индивидуального дерзания исчерпывался смысл стиха, в то время как тютчевская «ночь», как будто бы конкретно не очень точно нарисованная, насыщена многообразными ассоциациями. Это и «природный хаос»; это и «хаос» человеческой души, покинутой и одинокой в современном мире; это и «хаос» общественных катаклизмов и потрясений, которыми был так богат XIX век и за которыми так напряженно следил Тютчев. Этот «хаос» не только страшен, но и притягателен.

Фетовское «философствование» стало бедной смыслом, заемной по форме сентенцией, потому что из богатой оттенками, единой в своей трагической противоречивости жизненной картины вынуто главное — общественный аспект духовной драмы героя.

Такие стихи, как «Ласточки», Фет пишет редко. Он знает им настоящую цену. Поздний Фет стремится драматически обострять, углублять и

осложнять то, в чем он подлинный мастер: он дает обычного своего человека в его связях и отталкиваниях с «природностью», он зорко наблюдает «человечное» в природе и «природное» в человеке.

Спад широкой общественной активности после 1881 года, наступление новой эпохи открытой и зловеще душной реакции возвращает Фета снова в литературу: Фету кажется, что теперь наступила его пора. Начиная с 1883 года он издает ряд сборников лирических стихотворений под одним и тем же названием «Вечерние огни» (выпуск первый — 1883 год; выпуск второй — 1885 год; выпуск третий — 1888 год; выпуск четвертый — 1891 год). В первом из этих сборников есть распределение стихотворений по отделам, в основе восходящее к тому способу циклизации, который наметил еще Ап. Григорьев; в последующих выпусках Фет, как бы махнув рукой на этот недостаток органичный для его поэзии принцип, печатает стихи уже без всяких разделов. Он возвращается к принципу циклизации в составленном в последние годы жизни сводном плане издания всей его лирики, опять-таки опираясь на основную идею Ап. Григорьева. При этом получается так, что в один и тот же раздел попадают стихи, хронологически разделенные между собой десятками лет. Возможно, в таком распределении играло какую-то роль и стремление Фета подчеркнуть «вневременность» своего поэтического творчества.

В тот период, когда Фет возвращается в литературу, состояние его, по словам биографов, до-

*

стигает «той величины, которую можно назвать богатством». Недостаточность, по мнению Фета, законов, способствующих обогащению крупного землевладельца, не помешала ему все же скопить крупные денежные суммы, которые он употребил на покупку нового большого имения и дома в Москве. Мемуары его полны подробностей об этих продажах и покупках, тяжбах то по поводу мельницы, то размежевания помещичьих земель. Как состоятельный человек, он отходит от непосредственных забот по хозяйствованию и целиком отдается литературным делам. Достигнуто все, о чем мечталось с юности, — выпрошено у царя дворянское звание, благоустроена в старопоместном стиле усадьба, литературой Фет занимается только «для души», подчеркивая в предисловиях своих книг, что стихи он издает исключительно для друзей; «что же касается до массы читателей, устанавливающей так называемую популярность, то эта масса совершенно права, разделяя с нами взаимное равнодушие. Нам друг у друга искать нечего». Среди друзей, окружающих старого Фета почтительным вниманием, — поэт Я. П. Полонский, с которым возобновлена дружба юности, критик Н. Н. Страхов, «августейший поэт» К. Р. (великий князь К. К. Романов), философ В. С. Соловьев. Из этого дружеского круга исходят попытки переосмысления поэтического творчества Фета в «новом», характерном для эпохи реакции идеалистическом духе. Особенно примечательно в этом смысле выступление В. С. Соловьева.

Стремясь обосновать на материале искусства

свою идеалистическую концепцию «всеединства», «синтеза» разных жизненных начал в идеальном «совершенстве» подновленной христианской религии, Соловьев объявляет творчество Фета вершиной лирической поэзии. По мнению Соловьева, суть искусства в том, что оно раскрывает «абсолютное в индивидуальном явлении», и поэзия Фета наиболее отвечает этому требованию. Соловьев ясно видит стремление Фета изъять из лирики общественное начало, однако он полагает, что именно в этом и состоит жанровая специфика поэзии. Согласно Соловьеву, лирика чуждается «всего, что связано с процессом, историей». Соловьев восхваляет в поэзии Фета как раз то, что является ее слабой стороной. Получается так, что лучшее в Фете — это стихи типа «Ласточек», то есть то, что является наименее оригинальным, самостоятельным в Фете. Сам Фет хотел «вынуть» из своих стихов историю. На деле же, как большой поэт, он решал поэтические задачи, невысказанные вне его времени. Богатые психологической и «природной» экспрессией, ранние стихи Фета — характернейшее явление русской поэзии сороковых — пятидесятих годов; насыщение стиха драматизмом, философской содержательностью, трагическим психологизмом в позднюю пору опять-таки сложным и противоречивым образом связано с определенной исторической эпохой. Фет хотел бороться со своим временем, отстраниться от него, но оно отразилось, запечатлелось в нем, и именно оно сделало его большим поэтом.

В жизни Фета в поздний период характерно

отсутствие не то чтобы «гармонии», но и простой человеческой удовлетворенности итогами пути. Фет чрезвычайно много работает. Помимо ряда оригинальных поэтических сборников, он выпускает множество переводов. Кроме монументального труда всей его жизни, завершено в старости, — полного перевода Горация, — он переводит и других римских поэтов: Ювенала, Катулла, Вергилия, Овидия. Он переводит «Фауста» Гете и сочинения Шопенгауэра. Он пишет огромные по размеру мемуары — «Мои воспоминания» (два тома) и «Ранние годы моей жизни». Такое изобилие литературных работ, иногда выполненных небрежно, биографы объясняют томившей Фета скукой: «переводы заменяли ему гран-пасьянс», как выражается один исследователь. Умер Фет в 1892 году. Смерти его, по-видимому, предшествовала попытка самоубийства.

Одной из целей написанных Фетом мемуаров (они выполнены со своеобразной «натуралистической» дотошностью) было доказать, что его пути человеческие и поэтические не имеют между собой ничего общего и что «красота» вообще не имеет никакого отношения к жизни. Реально жизнь и творчество Фета органически, хотя и весьма противоречиво, связаны с современностью, с историей.

Об этом свидетельствует и дальнейшая историческая судьба поэзии Фета. Еще при жизни поэта появляются попытки не критического, внешне-подражательного использования его оригинальных, самобытных творческих приемов. Сам Фет этим

недоволен. В стихотворении «Заиграли на рояле...», по словам исследователя поэзии Фета Б. Я. Бухштаба, в виде «нарядных кукол, пляшущих под чужую музыку», изображены поэтические эпигоны:

Вид приличен и неробок,
А наряды — загляденье;
Только жаль, у милых пробок
Так тела прямолинейны!

Как «новаторское» литературное течение выступил русский символизм. В более или менее откровенной форме символистские поэты ориентировались на Фета; в особенности пленяла их кажущаяся «музыкальная неопределенность» фетовских образов. Из раннего круга символистских поэтов в особенности явно стремится осуществить «музыкальное» построение стиха Бальмонт. Но достаточно сравнить относящиеся еще к девятидесятым годам знаменитые своей «музыкальностью» бальмонтовские стихи «Челн томленья» или «Камыши», скажем, с ранним стихотворением Фета «Буря на небе вечернем...», внешне несколько похожим на типичные для раннего символизма стихи, как станет ясно, насколько неорганична эта кажущаяся связь. В стихах Бальмонта нет ни конкретного изображения природных явлений, о которых повествуется, ни достаточно внятного раскрытия психологического состояния героя. Все это потонуло в «инструментовке», в простом и, в сущности, достаточно элементарном «звукосложении».

По-настоящему, органично связана с фетовской традицией великая поэзия Блока. Особенно видна эта связь в раннем творчестве Блока. У молодого Блока тоже нет конкретной изобразительности, свойственной Фету, зато у него есть очень точное ощущение внутреннего драматизма фетовских построений, его «мелодики», его динамической силы. Он использует эти качества для поэтического рассказа о грехах, сомнениях и предчувствиях одинокой и ищущей новых дорог души. Блок не только обращается за помощью к Фету, но и художественно борется с ним. Уже ранний Блок ищет резко индивидуализированного героя, чего не было у Фета. И конечно, только так и может жить традиция в искусстве: в творческом преобразовании, в творческой борьбе, в преодолении ограниченности, в находках нового. Блок овладел и фетовской конкретной изобразительностью. Голос Фета часто слышен в зрелых блоковских стихах о метелях, пожарах и грозах — именно тут, как бы приближаясь к фетовской изобразительности больше всего, Блок наиболее органично преодолевает старшего поэта: ведь здесь Блок воспеваает эпоху революционных потрясений, историческую активность, против которой всю жизнь восставал Фет.

Павел Громов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ХАНДРА

1

Когда на серый, мутный небосклон
Осенний ветер нагоняет тучи
И крупный дождь в стекло моих окон
Стучится глухо, в поле вихрь летучий
Гоняет желтый лист и разложён
Передо мной в камине огонь трескучий, —
Тогда я сам осенняя пора:
Меня томит несносная хандра.

2

Мне хочется идти таскаться в дождь;
Пусть шляпу вихрь покружит в чистом поле.
Сорвал... унес... и кружит. Ну так что ж?
Ведь голова осталась. — Поневоле
О голове прикованной вздохнешь, —
Не царь она, а узник — и не боле!
И думаешь: где взять разрыв-травы,
Чтоб с плеч свалить обузу головы?

3

Горят дрова в камине предо мной,
 Кругом зола горячая сереет.
 Светло — а холодно! Дай обернусь спиной
 И сяду ближе. Но халат чадеет.
 Ну вот точь-в-точь искусств огонь святой:
 Ты ближе — жжет, отдвинешься — не греет.
 Эх, мудрецы! когда б мне кто помог
 И сделал так, чтобы огонь не жег!

4

Один, один! Ну, право, сущий ад!
 Хотя бы черт явился мне в камине:
 В нем много есть поэзии. Вот клад
 Вы для меня в несносном карантине!..
 Нет, съезжу к ней!.. Да нынче маскерад,
 И некогда со мной болтать Алине.
 Нет, лучше с чертом наболтаюсь я:
 Он слез не знает — скучного дождя!

5

Не еду в город. «Смесь одежд и лиц»
 Так бестолкова! Лучше у камина
 Засну — и черт мне тучу небылиц
 Представит. Пусть прекрасная Алина
 Прекрасна. — Завтра поздней стаей птиц
 Потянется по небу паутина,
 И буду вновь глядеть на небеса:
 Эх, тяжело! хоть бы одна слеза!

ГРЕЦИЯ

Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,

Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит, —
Мне грустно: мир богов, теперь осиротелый,
Рука невежества забвением клеймит.

Вотще... В полночь, как соловей восточный
Свистал, а я бродил незримый за стеной,
Я видел: грации сбирались в час урочный
В былой приют заросшею тропой.

Но в плясках ветреных богини не блистали
Молочной пеной форм при золотой луне;
Нет, — ставши в тесный круг, красавицы
шептали...
«Эллада!» — слышалось мне часто в тишине.

< 1840 >

К КРАСАВЦУ

Природы баловень, как счастлив ты судьбой!
Всем нравятся твой рост, и гордый облик твой,
И кудри пышные, беспечною завиты,
И бледное чело, и нежные ланиты,
Приподнятая грудь, жемчужный ряд зубов,
И огненный зрачок, и бархатная бровь;
А девы юные, украдкой от надзора,
Толкуют твой ответ и выраженьё зора,
И после каждая, вздохнув наедине,
Промолвит: «Да, он мой — его отдайте мне!»
Как сон младенчества, как первые лобзанья
С отравой сладкою безумного желанья,
Ты полон прелести в их памяти живешь,
Улыбкам учишь их и к зеркалу зовешь;
Не для тебя ль они, при факеле Авроры,
Находят новый взгляд и новые уборы?
Когда же ложе их оденет темнота,
Алкают уст твоих, раскрывшись, их уста.

<1841>

ДЕРЕВНЯ

Люблю я приют ваш печальный,
И вечер деревни глухой,
И за лесом благовест дальный,
И кровлю, и крест золотой.

Люблю я немятого луга
К окну подползающий пар,
И тесного, тихого круга
Не раз долитой самовар.

Люблю я на тех посиделках
Старушки чепец и очки;
Люблю на окне на тарелках
Овса золотые злачки;

На столике, близко к окошку,
Корзину с узорным чулком,
И по полу резвую кошку
В прыжках за проворным клубком;

И милой, застенчивой внучки
Красивый девичий наряд,
Движение бледненькой ручки
И робко опущенный взгляд;

Прощанье смолкающих пташек,
И месяца бледный восход,
Дрожанье фарфоровых чашек,
И речи замедленный ход;

И собственной выдумки сказки,
Прохлады вечерней струю,
И вас, любопытные глазки,
Живую награду мою!

<1842>

* * *

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру.
Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Всё бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре она сладко так спит!

<1842>

* * *

На пажитях немых люблю в мороз трескучий
При свете солнечном я снега блеск колючий,
Леса под шапками иль в инее седом
Да речку звонкую под темно-синим льдом.
Как любят находить задумчивые взоры
Завейные рвы, навеянные горы,
Былинки сонные среди нагих полей,
Где холм причудливый, как некий мавзолей,
Изваян полночью, — иль тучи вихрей дальных
На белых берегах и полынях зеркальных.

<1842>, 1855

* * *

Знаю я, что ты, малютка,
Лунной ночью не робка:
Я на снеге вижу утром
Легкий оттиск башмачка.

Правда, ночь при свете лунном
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты недаром, друг мой,
Покидаешь ложе сна:

Бриллианты в свете лунном,
Бриллианты в небесах,
Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на снегах.

Но боюсь я, друг мой мильй,
Как бы в вихре дух ночной
Не завеял бы тропинку,
Проложённую тобой.

<1842>

* * *

Вот утро севера — сонливое, скупое —
Лениво смотрится в окно волоковое;
В печи трещит огонь — и серый дым ковром
Тихонько стелется над кровлею с коньком.
Петух заботливый, копясь на дороге,
Кричит... а дедушка брадатый на пороге
Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо,
И хлопья белые летят ему в лицо.
И полдень настает. Но, боже, как люблю я,
Как тройкою ямщик кибитку удалую
Промчит — и скроется... И долго, мнится мне,
Звук колокольчика трепещет в тишине.

<1842>

* * *

Печальная береза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.

Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят, —
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

<1842>

* * *

Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.

«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».

Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и всё поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

<1842>

* * *

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

<1842>

* * *

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела;
В два ряда свет — и таинственным трепетом
Чудно горят зеркала.

Страшно припомнить душой оробелою:
Там, за спиной, нет огня...
Тяжкое что-то над шею белою
Плавает, давит меня!

Ну как уставят гробами дубовыми
Весь этот ряд между свеч!
Ну как лохматый с глазами свинцовыми
Выглянет вдруг из-за плеч!

Ленты да радуги, ярче и жарче дня...
Дух захватило в груди...
Суженый! золото, серебро!.. Чур меня,
Чур меня — сгинь, пропади!

* * *

«Полно смеяться! что это с вами?
Точно базар!
Как загудело! словно пчелами
Полон анбар».

— «Чу! не стучите! кто-то шагает
Вдоль закромов...
Сыплет да сыплет, пересыпает
Рожь из мешков.

Сыплет орехи, деньги считает,
Шубой шумит,
Всем наделяет, всё обещает,
Только сердит».

— «Ну, а тебе что?» — «Тише, сестрицы!
Что-то несут:
Так и трясутся все половицы...
Что-то поют;

Гроб забивают крышей большою,
Кто-то завыл!
Страшно, сестрицы! знать, надо мною
Шут подшутил».

< 1842 >

* * *

Ночь крещенская морозна,
Будто зеркало — луна.
«Побегу: еще не поздно,
Да боюсь идти одна».

— «Я, сестрица, за тобою
Не пойду — одна иди!»
— «Я с тобою, — за избою
Наводи да наводи!»

Ничего: пес рябый ходит,
Вот и серый у ворот...
И красавица наводит —
И никак не наведет.

«Вижу, вижу! потянулись:
Раз, два, три, четыре, пять...
Заструились, покачнулись,
Стало только три опять.

Ну, захочет почудесить?
Со страстей рехнуся я...
Шесть, семь, восемь, девять, десять —
Чешуя как чешуя...

Вот одиннадцать — всё лица!
Вот собаки лай и вой. . .
Чур меня! . .» — «Ну что, сестрица?»
— «Раскрасавец молодой!»

<1842>

* * *

Помню я: старушка няня
Мне в рождественской ночи
Про судьбу мою гадала
При мерцании свечи,

И на картах выходили
Интересы да почет.
Няня, няня! ты ошиблась,
Обманул тебя расчет;

Но зато я так влюбился,
Что приходится невмочь...
Погадай мне, друг мой няня,
Нынче святочная ночь.

Что, — не будет ли свиданья,
Разговоров иль письма?
Выйдет пиковая дама
Иль бубновая сама?

Няня добрая гадает,
Грустно голову склоняя;
Свечка тихо нагорает,
Сердце бьется у меня.

<1842>

* * *

Перекресток, где ракетка
И стоит и спит...
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.

Кто-то кра́дется сторонкой,
Санки пробегут —
И вопрос раздастся звонкой:
«Как тебя зовут?»

<1842>

* * *

Не отходи от меня,
Друг мой, останься со мной!
Не отходи от меня:
Мне так отрадно с тобой. . .

Ближе друг к другу, чем мы, —
Ближе нельзя нам и быть;
Чище, живее, сильней
Мы не умеем любить.

Если же ты — предо мной,
Грустно головку склоня, —
Мне так отрадно с тобой:
Не отходи от меня!

<1842>

* * *

Тихая, звездная ночь,
Трепетно светит луна;
Сладки уста красоты
В тихую, звездную ночь.

Друг мой! в сияньи ночном
Как мне печаль превозмочь? ..
Ты же светла, как любовь,
В тихую, звездную ночь.

Друг мой, я звезды люблю —
И от печали не прочь...
Ты же еще мне милей
В тихую, звездную ночь.

<1842>

* * *

Я полон дум, когда, закрывши вежды,
Внимаю шум
Младого дня и молодой надежды;
Я полон дум.

Я всё с тобой, когда рука неволи
Владеет мной,
И целый день. туманно ли, светло ли, —
Я всё с тобой.

Вот месяц всплыл в своем сияньи дивном
На высоты,
И водомет в лобзаньи непрерывном, —
О, где же ты?

<1842>

* * *

Буря на небе вечернем,
Моря сердитого шум —
Буря на море и думы,
Много мучительных дум —
Буря на море и думы,
Хор возрастающих дум —
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.

<1842>

* * *

Давно ль под волшебные звуки
Носились по зале мы с ней?
Теплы были нежные руки,
Теплы были звезды очей.

Вчера пели песнь погребенья,
Без крыши гробница была;
Закрывши глаза, без движенья,
Она под парчою спала.

Я спал... над постелью моею
Стояла луна мертвецом.
Под чудные звуки мы с нею
Носились по зале вдвоем.

< 1842 >

* * *

Когда я блестящий твой локон целую
И жарко дышу так на милую грудь, —
Зачем говоришь ты про деву иную
И в очи мне прямо не смеешь взглянуть?

Хоть вечер и близок, не бойся! От стужи
Тебя я в широкий свой плащ заверну —
Луна не в тумане, а звезд хоть и много,
Но мы заглядимся с тобой на одну.

Хоть в сердце не веруй... хоть веруй
И взор мой, и трепет, и лепет пойми —
И, жарким лобзаньем спаливши сомненье,
Ревнивая дева, меня обуйми!

<1842>

* * *

Теплым ветром потянуло,
Смолк далекий гул,
Поле тусклое уснуло,
Гуртовщик уснул.

В загородке улеглись
И жуют волы,
Звезды частые зажглись
По навесу мглы.

Только выше всё всплывает
Месяц золотой,
Только стадо обегает
Пес сторожевой.

Редко, редко кочевая
Тучка бросит тень...
Неподвижная, немая,
Ночь светла, как день.

<1842>

* * *

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне.
Мы сели с ней друг подле друга.
Валежник свистал на огне.

И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!

Березы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной...
О друг мой, скажи, что с тобою?
Я знаю давно, что со мной!

<1842>

* * *

Вдали огонек за рекою,
Вся в блестках струится река,
На лодке весло удалое,
На цепи не видно замка.

Никто мне не скажет: «Куда ты
Поехал, куда загадал?»
Шевелись же, весло, шевелись!
А берег во мраке пропал.

Да что же? Зачем бы не ехать?
Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла, и огня за рекой?..

<1842>

* * *

Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я...

Чаще всего мне приятно скользить по заливу
Так — забываясь
Под звучную меру весла,
Омочённого пеной шипучей, —
Да смотреть, много ль отъехал
И много ль осталось,
Да не видать ли зарницы...

Изо всех островков,
На которых редко мерцают
Огни рыбаков запоздалых,
Мил мне один предпочтительно...
Красноглазый кролик
Любит его;
Гордый лебедь каждой весной
С протянутой шеей летает вокруг
И садится с размаха
На тихие воды.

Над обрывом утеса
Растет, помавая ветвями,
Широколиственный дуб.

Сколько уж лет тут живет соловей!
Он поет по зарям,
Да и позднею ночью, когда
Месяц обманчивым светом
Серебрит и волны и листья,
Он не молкнет, поет
Всё громче и громче.

Странные мысли
Приходят тогда мне на ум:
Что это — жизнь или сон?
Счастлив я или только обманут?

Нет ответа...
Мелкие волны что-то шепчут с кормою,
Весло недвижимо,
И на́ небе ясном высоко сверкает зарница.

<1842>

* * *

Я жду... Соловьиное эхо
Несется с блестящей реки,
Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки.

Я жду... Темно-синее небо
И в мелких, и в крупных звездах,
Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах.

Я жду... Вот повеяло с юга;
Тепло мне стоять и идти;
Звезда покатилась на запад...
Прости, золотая, прости!

<1842>



Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночи!
Опять и опять я люблю тебя,
Тихая, теплая,
Серебром окаймленная!
Робко, свечу потушив, подхожу я к окну...
Меня не видать, зато сам я всё вижу...
Дождусь, непременно дождусь:
Калитка вздрогнёт, растворяясь,
Цветы, закачавшись, сильнее запахнут, и долго,
Долго при месяце будет мелькать покрывало.

<1842>

* * *

Друг мой, бессильны слова, — одни поцелуи
всесильны...
Правда, в записках твоих весело мне
наблюдать,
Как прилив и отлив мыслей и чувства мешают
Ручке твоей поверять то и другое листку;
Правда, и сам я пишу стихи, покоряясь богине, —
Много и рифм у меня, много размеров
живых...
Но меж ними люблю я рифмы взаимных
лобзаний,
С нежной цезурой уст, с вольным
размером любви.

<1842>

* * *

Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое
стадо?
С криком летят через дом к теплым полям
журавли,
Желтые листья шумят, в березнике свищет
сеница.
Ты говоришь, что опять теплой дождемся
весны...
Друг мой! могу ль при тебе дожидаться
блаженства в грядущем?
Разве зимой у тебя меньше ланиты
цветут?..
В зеркале часто себя ты видишь, с детской
улыбкой
Свой поправляя венки; так разреши мне
сама,
Где у тебя на лице более жизни и страсти:
Вешним ли утром в саду, в полном сияньи
зари,
Иль у огня моего, когда я боюсь, чтобы искра,
С треском прыгнув, не сожгла ножки-
малютки твоей?

<1842>

СОН И ПАЗИФАЯ

Ярко блестящая пряжка над белою полною
грудью
Девы хариты молодой — ризы вязала концы,
Свежий венок прилегал к высоко подвязанным
косам,
Серьги с подвеской тройной с блеском
качались в ушах,
Сзади вились по плечам, умашенные сладкою
амброй,
Запах далеко лия, волны кудрей золотых.
Тихо ступала нога круглобедрая. Так Пазифаю
Юноша Сон увидал, полон желанья любви.
Крепкой обвита рукой, покраснела харита
младая,
Но возрастающий жар вежды прекрасной
сомкнул,
И в упоеньи любви на цветы опускается, дева,
Члены раскинув, с кудрей свой уронила
венок.

<1842>

* * *

Щечки рдеют алым жаром,
Соболь инеем покрыт,
И дыханье легким паром
Из ноздрей твоих летит.

Дерзкий локон в наказанье
Поседел в шестнадцать лет...
Не пора ли нам с катанья? —
Дома ждет тепло и свет —

И пуститься в разговоры
До рассвета про любовь? ..
А мороз свои узоры
На стекле напишет вновь.

<1842>

* * *

Сосна так темна, хоть и месяц
Глядит между длинных ветвей.
То клонит ко сну, то очнешься,
То мельница, то соловей,

То ветра немое лобзанье,
То запах фиалки ночной,
То блеск замороженной дали
И вихря полночного вой.

И сладко дремать мне — и грустно,
Что сном я надежду гублю.
Мой ангел, мой ангел далекий,
Зачем я так сильно люблю?

<1842>

МОЯ УНДИНА

Она резва,
Как рыбка;
Ее слова
Так гибко
Шутить в речи
Готовы,
И, что ключи,
Всё новы. . .
Она светлей
Фонтана,
Она скрытней
Тумана;
Немного зла,
Ревнива. . .
Зато мила
На диво.

<1842>

* * *

Я узнаю тебя и твой белый вуаль,
Где роняет цветы благовонный миндаль,
За решеткою сада, с лихого коня,
И в ночи при луне, и в сиянии дня;
И гитару твою далеко слышу я
Под журчанье фонтана и песнь соловья...
Днем и ночью гляжу сквозь решетку я вдаль —
Не мелькнет ли в саду белоснежный вуаль?

<1842>

•
* * *

Как на черте полночной дали
Тот огонек,
Под дымкой тайною печали
Я одинок.

Я не влеку могучей силой
Очей твоих,
Но приманю я взор твой милый
На краткий миг.

И точка трепетного света
Моих очей —
Тебе печальная примета
Моих страстей.

<1842>

* * *

Поверьте мне: с надеждой тайной
Стиху я верю своему;
Быть может, прихотью случайной
Дано значение ему.

Так точно, в час осенней тучи,
Когда гроза деревья гнет,
Листок бесцветный и летучий
Вас грустным лепетом займет.

<1842>

ВАКХАНКА

Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьяенья,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто волосы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая всё ниже опускалась,
И молодая грудь всё больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны.

<1843>

* * *

Полуно́чные образы реют,
Блещут искрами ярко впотьмах,
Но глаза различить не умеют,
Много ль их на тревожных крылах.

Полуночные образы стонут,
Как больной в утомительном сне,
И всплывают, и стонут, и тонут —
Но о чем это стонут оне?

Полуночные образы воют,
Как духов испугавшийся пес;
То нахлынут, то бездну откроют,
Как волна обнажает утес.

<1843>

* * *

Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь, —
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.

Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор...

<1843>

* * *

Каждое чувство бывает понятней мне ночью,
и каждый
Образ пугливо-немой дольше трепещет
во мгле;
Самые звуки доступней, даже когда,
неподвижен,
Книгу держу я в руках, сам пробегая в уме
Всё невозможно-возможное, странно-бывалое...
Лампа
Томно у ложа горит, месяц смеется в окно,
А в отдалении колокол вдруг запоеет —
и тихонько
В комнату звуки плывут; я предаюсь им
вполне.
Сердце в них находило всегда какую-то влагу,
Точно как будто росой ночи омыты они.
Звук всё тот же поет, но с каждым порывом
иначе:
То в нем меди тугой более, то серебра.
Странно, что ухо в ту пору как будто не слушающая
слушает;
В мыслях иное совсем, думы — волна
за волной...

А между тем еще глубже сокрытая сила объемлет
Лампу, и звуки, и ночь, их сочетавши в одно.
Так между влажно-махровых цветов снотворного
маку
Полночь роняет порой тайные сны наяву.

<1843>

* * *

Не ворчи, мой кот-мурлыка,
В неподвижном полусне:
Без тебя темно и дико
 В нашей стороне;

Без тебя всё та же печка,
Те же окна, как вчера,
Те же двери, та же свечка,
 И опять хандра...

<1843>

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ СЕРДЦУ

Сердце — ты малютка!
Угомон возьми. . .
Хоть на миг рассудка
Голосу вонми.
Рад принять душою
Всю болезнь твою!
Спи, господь с тобою,
Баюшки-баю!

Не касайся к ране —
Станет подживать;
Не тоскуй по няне,
Что ушла гулять;
Это только шутка —
Няню жди свою.
Засыпай, малютка,
Баюшки-баю!

А не то другая
Нянюшка придет,
Сядет, молодая,
Песни запоет:
«Посмотри, родное,
На красу мою,

Да усни в покое...
Баюшки-баю!»

Что ж ты повернулось?
Прежней няни жаль?
Знать, опять проснулась
Старая печаль?
Знать, пуста скамейка,
Даром что пою?
Что ж она, злодейка?
Баюшки-баю!

Подожди, вот к лету
Станешь подрастать, —
Колыбельку эту
Надо променять.
Я кровать большую
Дам тебе свою
И свечу задую.
Баюшки-баю!

И долга кроватка,
И без няни в ней
Спится сладко-сладко
До скончанья дней.
Перестанешь биться —
И навек в раю, —
Только будет сниться:
Баюшки-баю!

* * *

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

<1843>

* * *

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что́ буду
Петь, — но только песня зреет.

<1843>

УЗНИК

Густая крапива
Шумит под окном,
Зеленая ива
Повисла шатром;

Веселые лодки
В дали голубой;
Железо решетки
Визжит под пилой.

Бывалое горе
Уснуло в груди,
Свобода и море
Горят впереди.

Прибавилось духа,
Затихла тоска,
И слушает ухо,
И пилит рука.

<1843>

ИВЫ И БЕРЕЗЫ

Березы севера мне милы, —
Их грустный, опущенный вид,
Как речь безмолвная могилы,
Горячку сердца холодит.

Но ива, длинными листьями
Упав на лоно ясных вод,
Дружней с мучительными снами
И дольше в памяти живет.

Лия таинственные слезы
По рощам и лугам родным,
Про горе шепчутся березы
Лишь с ветром севера одним.

Всю землю, грустно-сиротлива,
Считая родиной скорбей,
Плакучая склоняет ива
Везде концы своих ветвей.

<1843>, <1856>

* * *

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Не жаль мне детских игр, не жаль мне
тихих снов,
Тобой так сладостно и больно возмущенных
В те дни, как постигал я первую любовь
По бунту чувств неугомонных,

По сжатию руки, по отблеску очей,
Сопровождаемым то вздохами, то смехом,
По ропоту простых, незначащих речей,
Лишь нам звучавших страсти эхом.

<1844>

* * *

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.

Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад. . .

Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена —
И над душою каждою
Проносится весна.

<1844>

* * *

Улыбка томительной скуки
Средь общей веселия жажды...
Вы, полные, сладкие звуки, —
Знать, вас не услышать мне дважды!

Зачем же за тающей скрипкой
Так сердце в груди встрепенулось,
Как будто знакомой улыбкой
Минувшее вдруг улыбнулось?

Так томно и грустно-небрежно
В свой мир расцвечённый уносит,
И ластится к сердцу так нежно,
И так умилительно просит?

<1844>

СЕРЕНАДА

Тихо вечер догорает,
Горы золотя;
Знойный воздух холодает, —
Спи, мое дитя.

Соловьи давно запели,
Сумрак возвестя;
Струны робко зазвенели, —
Спи, мое дитя.

Смотрят ангельские очи,
Трепетно светя;
Так легко дыханье ночи, —
Спи, мое дитя.

<1844>

* * *

За кормою струйки вьются,
Мы несемся в челноке,
И далеко раздаются
Звуки «Нормы» по реке.

Млечный Путь глядится в воду —
Светлый праздник светлых лет!
Я веслом прибавил ходу —
И луна бежит вослед.

Струйки вьются, песни льются,
Вторит эхо вдалеке,
И, дробясь, раздаются
Звуки «Нормы» по реке.

<1844>

ЦЫГАНКЕ

Молода и черноока,
С бледной смуглостью ланит,
Прорицательница рока,
Предо мной дитя востока,
Улыбаяся, стоит.

Щеголяет хор суровый
Выраженьем страстных лиц;
Только деве чернобровой
Так пристал наряд пунцовый
И склонение ресниц.

Перестань, не пой, довольно!
С каждым звуком яд любви
Льется в душу своевольно
И горит мятежно-больно
В разволнованной крови.

Замолчи: не станет мочи
Мне прогрезить до утра
Про полуденные очи
Под навесом темной ночи
И восточного шатра.

<1844>

* * *

Как мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.

Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былоѣ стремленье
Далско, как отблеск вечерний.

Но память былого
Всѣ крадется в сердце тревожно...
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

11 августа 1844

* * *

Весеннее небо глядится
Сквозь ветви мне в очи случайно,
И тень золотая ложится
На воды блестящего Майна.

Вдали огонек одинокой
Трепещет под сумраком липок;
Исполнена тайны жестокой
Душа замирающих скрипок.

Средь шума толпы неизвестной
Те звуки понятней мне вдвое:
Напомнили силой чудесной
Они мне всё сердцу родное.

Ожившая память несется
К прошедшей тоске и веселью;
То сердце замрет то проснется
За каждой безумною трелью.

Но быстро волшебной чредою
Промчалась тоскливая тайна,
И месяц бежит полосою
Вдоль вод тихоструйного Майна.

Август 1844

* * *

Недвижные очи, безумные очи,
Зачем вы среди дня и в часы полуночи
 Так жадно вперяетесь вдаль?
Ужели вы в том потонули минувшем,
Давно и мгновенно пред вами мелькнувшем,
 Которого сердцу так жаль?

Не высмотреть вам, чего нет и что было,
Что сердце, тоскуя, в себе схоронило
 На самое темное дно;
Не вам допросить у случайности жадной,
Куда она скрыла рукой беспощадной,
 Что было так щедро дано!

<1846>

ВОЗДУШНЫЙ ГОРОД

Вон там по заре растянулся
Причудливый хор облаков:
Всё будто бы кровли, да стены,
Да ряд золотых куполов.

То будто бы белый мой город,
Мой город знакомый, родной,
Высоко на розовом небе
Над темной, уснувшей землей.

И весь этот город воздушный
Тихонько на север плывет...
Там кто-то манит за собою —
Да крыльев лететь не дает!..

<1846>

* * *

Когда мечтательно я предан тишине
И вижу кроткую царицу ясной ночи,
Когда созвездия заблещут в вышине
И сном у Аргуса начнут смыкаться очи,

И близок час уже, условленный тобой,
И ожидание с минутой возрастает,
И я стою уже безумный и немой,
И каждый звук ночной смущенного пугает;

И нетерпение сосет больную грудь,
И ты идешь одна, украдкой, озираясь,
И я спешу в лицо прекрасной заглянуть,
И вижу ясное, — и тихо, улыбаясь,

Ты на слова любви мне говоришь «люблю!»,
А я бессвязные связать стараюсь речи,
Дыханьем пламенным дыхание ловлю,
Целую волоса душистые и плечи,

И долго слушаю, как ты молчишь, и мне
Ты предаешься вся для страстного лобзанья, —
О друг, как счастлив я, как счастлив я вполне!
Как жить мне хочется до нового свиданья!

<1847>

* * *

Постой! здесь хорошо! зубчатой и широкой
Каймою тень легла от сосен в лунный свет...
Какая тишина! Из-за горы высокой
Сюда и доступа мятежным звукам нет.

Я не пойду туда, где камень вероломный,
Скользя из-под пяты с отвесных берегов,
Летит на хрящ морской; где в море вал
огромный
Придет — и убежит в объятия валов.

Одна передо мной, под мирными звездами,
Ты здесь, царица чувств, властительница дум...
А там придет волна — и грянет между нами...
Я не пойду туда: там вечный плеск и шум!

<1847>, 1855

* * *

Эх, шутка-молодость! Как новый, ранний снег
Всегда и чист и свеж! Царица тайных нег,
Луна зеркальная над древнею Москвою
Одну выводит ночь блестящей за другою.
Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ль? ..
На сердце жар любви, и трепет, и печаль! ..
Бегу! Далекие, как бы в вознагражденье,
Шлют звезды в инее свое изображение.
В сияньи полночи безмолвен сон Кремля.
Под быстрою стопой промерзлая земля
Звучит, и по крутой, хотя недавней стуже
Доходит бой часов порывистой и туже.
Бегу! Нигде огня, — соседи полегли,
И каждый звук шагов, раздавшийся вдали,
Иль тени на стене блестящей колыханье
Мне напрягает слух, прервав мое дыханье.

<1847>

* * *

Тебе в молчании я стираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.
Ты втайне поняла души смешную муку,
Усталых прихотей ты разгадала скуку;
Мы вместе — и судьбе я молча предаюсь.

Без клятв и клеветы ребячески-невинной
Сказала жизнь за нас последний приговор.
Мы оба молоды, но с радостью старинной
Люблю на локон твой засматриваться длинный;
Люблю безмолвных уст и взоров разговор.

Как в дни безумные, как в пламенные годы,
Мне жизни мировой святыня дорога;
Люблю безмолвие полунощной природы,
Люблю ее лесов лепечущие своды,
Люблю ее степей алмазные снега.

И снова мне легко, когда, святому звуку
Внимая не один, я заживо делюсь;
Когда, за честный бой с тенями взяв поруку,
Тебе в молчании я стираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.

<1847>

* * *

Я люблю его жарко: он тигром в бою
 Нападает на хищных врагов;
Я люблю в нем отраду, награду мою
 И потомка великих отцов.

Кто бы ни был ты — странник простой
 иль купец —
 Ни овцы, ни верблюда не тронь!
От кобыл Мугаммеда его жеребец —
 Что небесный огонь этот конь.

Только мирный пришлец нагибайся в шатер
 И одежду дорожную скинь;
На услугу и ласку он ловок и скор:
 Он бадья при колодце пустынь.

Будто месяц над кедром, белеет чалма
 У него средь широких степей.
Я люблю, и никто — ни Фатима сама —
 Не любила пророка сильней!

<1847>

* * *

Еще весна, — как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча, — медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.

Еще аллея не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синеет,
А я иду — душистый холод веет
В лицо — иду — и соловьи поют.

Несбыточное грезится опять,
Несбыточное в нашем бедном мире,
И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять.

Придет пора — и скоро, может быть, —
Опять земля взалкает обновиться,
Но это сердце перестанет биться
И ничего не будет уж любить.

<1847>

* * *

Непогода — осень — куришь,
Куришь — всё как будто мало.
Хоть читал бы, — только чтенье
Подвигается так вяло.

Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неумоимо.

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Всё такая чертовщина!

Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю... .

<1847>

* * *

Ветер злой, ветер крутой в поле
Заливается,
А сугроб на степной воле
Завивается.

При луне на версте мороз —
Огонечками.
Про живых ветер весть пронес
С позвоночками.

Под дубовым крестом свистит,
Раздувается.
Серый заяц степной хрустит,
Не пугается.

<1847>

* * *

Ночь светла, мороз сияет,
Выходи — снежок хрустит;
Пристяжная озябает
И на месте не стоит.

Сядем, полость застегну я, —
Ночь светла и ровен путь.
Ты ни слова, — замолчу я,
И — пошел куда ни будь!

<1847>

* * *

На двойном стекле узоры
Начертил мороз,
Шумный день свои дозоры
И гостей унес;

Смолкнул яркий говор сплетней,
Скучный голос дня;
Благодатней и приветней
Всё кругом меня.

Пред горящими дровами
Сядем — там тепло.
Месяц быстрыми лучами
Пронизал стекло.

Ты хитрила, ты скрывала,
Ты была умна;
Ты давно не отдыхала,
Ты утомлена.

Полон нежного волненья,
Сладостной мечты,
Буду ждать успокоенья
Чистой красоты.

< 1847 >

ФАНТАЗИЯ

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

Что ж молчим мы? Или самовластно
Царство тихой, светлой ночи мая?
Иль поет и ярко так и страстно
Соловей, над розой изнывая?

Иль проснулись птички за кустами,
Там, где ветер колыхал их гнезды,
И, дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе к нам нисходят звезды?

На суку извилистом и чудном,
Пестрых сказок пышная жилища,
Вся в огне, в сияньи изумрудном,
Над водой качается жар-птица;

Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчужной пеной мещут
И алмазной пылью водометы.

Листья полны светлых насекомых,
Всё растёт и рвется вон из меры,
Много снов проносится знакомых,
И на сердце много сладкой веры.

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным;
Миг еще — и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

<1847>

* * *

Спи — еще зарею
Холодно и рано;
Звезды за горою
Блещут средь тумана;

Петухи недавно
В третий раз пропели,
С колокольни плавно
Звуки пролетели.

Дышат лип верхушки
Негою отрадной,
А углы подушки
Влагою прохладной.

<1847>

* * *

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны,
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила, —
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Счастью сердце легко отдается:
Мне близ тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок.

<1847>



Что за вечер! А ручей
Так и рвется.
Как зарей-то соловей
Раздается!

Месяц светом с высоты
Обдал нивы,
А в овраге блеск воды,
Тень да ивы.

Знать, давно в плотине течь:
Доски гнилы, —
А нельзя здесь не прилечь
На перилы.

Так-то всё весной живет!
В роще, в поле
Всё трепещет и поет
Поневоле.

Мы замолкнем, что в кустах
Хоры эти, —
Придут с песнью на устах
Наши дети;

А не дети, так пройдут
С песнью внуки:
К ним с весною низойдут
Те же звуки.

<1847>

ЗМЕЙ

Чуть вечернею росой
Осыпается трава,
Чешет косу, моет шею
Чернобровая вдова.

И не сводит у окошка
С неба темного очей,
И летит, свиваясь в кольца,
В ярких искрах длинный змей.

И шумит всё ближе, ближе,
И над вдовьиним двором,
Над соломенной крышей
Рассыпается огнем.

И окно тотчас затворит
Чернобровая вдова;
Только слышатся в светлице
Поцелуи да слова.

<1847>

ЛИХОРАДКА

«Няня, что-то всё не сладко!
Дай-ка сахар мне да ром.
Всё как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом».

— «Ах, родимый, бог с тобою:
Подойти нельзя к печам!
При себе всегда закрою,
Топим жарко — знаешь сам».

— «Ты бы шторку опустила...
Дай-ка книгу... Не хочу...
Ты намедни говорила,
Лихорадка... я шучу...»

— «Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сестры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.

Вишь, нелегкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит,
И пойдет тебя трепать».

— «Верю, няня!.. Нет ли шубы?
Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы —
Лихорадка ли она?»

<1847>

ДИАНА

Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж деревьев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами
Высоко поднялось открытое чело, —
Его неподвижностью вниманье облегло,
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник, —
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал, — она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж деревьями,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные. . . Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.

<1847>

* * *

Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый
направил
Быстрых коней, Фаетонову гибель, за розовой
Эос;
Круто напрягши бразды, он кругом озирался,
и тотчас
Бойкие взоры его устремились на берег
пустынный.
Там воскурялся туман благовонною жертвою;
море
Тихо у желтых песков почивало; разбитая лодка,
Дном опрокинута вверх, половиной в воде,
половиной
В утреннем воздухе, темной смолою чернела —
и тут же,
Влево, разбросаны были обломки еловые весел,
Кожаный щит и шелом опрокинутый, полные
тины.
Дальше, когда порассеялись волны тумана
седого,
Он увидал на траве, под зеленым навесом
каштана

(Трижды его обежавши, лоза окружала
кистями), —
Юношу он на траве увидал: белоснежные члены
Были раскинуты, правой рукою как будто
теснил он
Грудь, и на ней-то прекрасное тело недвижно
лежало,
Левая навзничь упала, и белые формы на темной
Зелени трав благовонных во всей полноте
рисовались;
Весь был разодран хитон, округленные бедра
белели,
Будто бы мрамор, приявший изгибы от рук
Праксителя,
Ноги казали свои покровенные прахом подошвы,
Светлые кудри чела упали на грудь, осеняя
Мертвую силу лица и глубоко-смертельную язву.

К ЮНОШЕ

Друзья, как он хорош за чашею вина!
Как молодой души неопытность видна!
Его шестнадцать лет, его живые взоры,
Ланиты нежные, заносчивые споры,
Порывы дружества, негодование, гнев —
Всё обещает в нем любимца зорких дев.

<1847>

* * *

Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге созерцает.

Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнет ни складкой;
Порой тяжелый карп плеснет у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

Как тихо... Каждый звук и шорох слышу я;
Но звуки тишины ночной не прерывают —
Пускай живая трель ярка у соловья,
Пусть травы на воде русалки колыхают...

<1847>

* * *

Полно спать: тебе две розы
Я принес с рассветом дня.
Сквозь серебряные слезы
Ярче нег их огня.

Вешних дней минутны грозы,
Воздух чист, свежей листы...
И роняют тихо слезы
Ароматные цветы.

<1847>

* * *

О, не зови! Страстей твоих так звонок
Родной язык.
Ему внимать и плакать, как ребенок,
Я так привык!

Передо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь,
Я знаю край, где всё, что может сниться,
Трепещет въявь.

Скажи, не я ль на первые воззванья
Страстей в ответ
Искал блаженств, которым нет названья
И меры нет?

Что ж? Рухнула с разбега колесница,
Хоть цель вдали,
И распростерт заносчивый возница,
Лежит в пыли.

Я это знал — с последним увлеченьем
Конец всему;
Но самый прах с любовью, с наслажденьем
Я обойму.

Так предо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь!
Я знаю край, где всё, что может сниться,
Трепещет въявь.

И не зови, — но песню наудачу
Любви запой;
На первый звук я как дитя заплачу —
И за тобой!

<1847>

* * *

Как отрок зарею
Лукавые сны вспоминает,
Я звука душою
Ищу, что в душе обитает.

Хоть в сердце нет веры
В живое преданий наследство,
Люблю я химеры,
Где рдеет румяное детство.

Быть может, что сонный
Со сном золотым встрепенется
Иль стих благовонный
Из уст разомкнутых польется.

<1847>

МЕТЕЛЬ

Ночью буря разозлилась,
Крыша снегом опушилась,
И собаки — по щелям.
Липнет глаз от резкой пыли,
И огни уж потушили
Вдоль села по всем дворам.

Лишь в избушке за дорогой
Одинокой и убогой
Огонек в окне горит.
В той избушке только двое.
Кто их знает — что такое
Брат с сестрою говорит?

«Помнишь то, что, умирая,
Говорили нам родная
И родимый? — отвечай! ..
Вот теперь — что день, то гонка,
И крикливого ребенка,
Пóвек девкою, качай!

И когда же вражья сила
Вас свела? — Ведь нужно ж было
Завертеться мне в извоз! ..

Иль ответить не умеешь?
Что молчишь и что бледнеешь?
Право, девка, не до слез!»

— «Братец милый, ради бога,
Не гляди в глаза мне строго:
Я в ночи тебя боюсь».

— «Хоть ты бойся, хоть не бойся,
А сойдусь — не беспокойся,
С ним по-свойски разочтусь!»

Ветер пуще разыгрался;
Кто-то в избу постучался.
«Кто там?» — брат в окно спросил
— «Я прохожий — и от снега
До утра ищу ночлега», —
Чей-то голос говорил.

— «Что ж ты руки-то поджала?
Люльку вдоволь, чай, качала.
Хоть грусти, хоть не грусти,
Нет меня — так нет и лени!
Побеги проворней в сени
Да прохожего впусти».

Чрез порог вступил прохожий;
Помолясь на образ божий,
Поклонился брату он;
А сестре как поклонился
Да взглянул, — остановился,
Точно громом поражен.

Все молчат. Сестра бледнеет,
Никуда взглянуть не смеет;
Исподлобья брат глядит;
Всё молчит, — лучина с треском
Лишь горит багровым блеском,
Да по кровле ветер шумит.

<1847>

* * *

Эти думы, эти грезы —
Безначальное кольцо.
И текут ручьями слезы
На горячее лицо.

Сердце хочет, сердце просит,
Слезы льются в два ручья;
Далеко меня уносит,
А куда — не знаю я.

Не могу унять стремленье,
Я не в силах не желать:
Эти грезы — наслажденье!
Эти слезы — благодать!

<1847>

* * *

Поделись живыми снами,
Говори душе моей;
Что не выскажешь словами —
Звуком на́ душу навей.

<1847>

* * *

Сядь у моря — жди погоды.
Отчего ж не ждать?
Будто воды, наши годы
Станут прибывать.

Поразвеет пыл горячий,
Проминет беда,
И под камень под лежащий
Потечет вода.

И отступится кручина,
Что́ свекровь стара;
Накидает мне пучина
Всякого добра.

Будто воды, наши годы
Станут прибывать.
Сядь у моря, жди погоды;
Отчего ж не ждать?

<1847>

К ОФЕЛИИ

* * *

Не здесь ли ты легкою тенью,
Мой гений, мой ангел, мой друг,
Беседуешь тихо со мною
И тихо летаешь вокруг?

И робким даришь вдохновеньем,
И сладкий врачуешь недуг,
И тихим даришь сновиденьем,
Мой гений, мой ангел, мой друг. ...

<1842>

* * *

Я болен, Офелия, милый мой друг!
Ни в сердце, ни в мысли нет силы.
О, спой мне, как носится ветер вокруг
Его одинокой могилы.

Душе раздраженной и груди больной
Понятны и слезы, и стоны.
Про иву, про иву зеленую спой,
Про иву сестры Дездемоны.

<1847>

* * *

Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки;
С цветами, венками и песнью
На дно опустилась реки.

И многое с песнями канет
Мне в душу на темное дно,
И много мне чувства, и песен,
И слез, и мечтаний дано.

<1846>

* * *

Как ангел неба безмятежный,
В сияньи тихого огня
Ты помолишь душою нежной
И за себя и за меня.

Ты от меня любви словами
Сомненья духа отжени
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осени.

<1843>

* * *

Я в моих тебя вижу всё снах
С той же яркою искрой в глазах,
С тем же бледно-прозрачным лицом,
С тем же розовым белым венцом,
С той же властью приветливых слов,
С той же тучей младенческих снов;
И во сне так полно я живу,
Как, бывало, живал наяву.

7 сентября 1847

ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгаям лед,
Солнце теплое ходит высоко
И душистого ландыша ждет.

Снова в сердце ничем не умеришь
До ланит восходящую кровь,
И душою подкупленной веришь,
Что, как мир, бесконечна любовь.

Но сойдемся ли снова так близко
Средь природы разнеженной мы,
Как видало ходившее низко
Нас холодное солнце зимы?

1848

* * *

Снова слышу голос твой,
Слышу и бледнею;
Расставался, как с душой,
С красотой твоею!

Если б муку эту знал,
Чуял спозаранку, —
Не любил бы, не ласкал
Смуглую цыганку.

Не лелеял бы потом
Этой думы томной
В чистом поле под шатром
Днем и ночью темной.

Что ж напрасно горячить
Кровь в усталых жилах?
Не сумела ты любить,
Я — забыть не в силах.

1840-е годы (?)

* * *

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря! . .

<1850>

* * *

Напрасно!

Куда ни взгляну я, встречаю везде неудачу,
И тягостно сердцу, что лгать я обязан всечасно;
Тебе улыбаюсь, а внутренне горько я плачу,
Напрасно.

Разлука!

Душа человека какие выносит мученья!
А часто на них намекнуть лишь достаточно
звуча.
Стою как безумный, еще не постиг выраженья:
Разлука.

Свиданье!

Разбей этот кубок: в нем капля надежды таятся.
Она-то продлит и она-то усилит страданье,
И в жизни туманной всё будет обманчиво
сниться

Свиданье.

Не нами

Бессилье изведено слов к выраженью желаний.
Безмолвные муки сказались людям веками,
Но очередь наша, и кончится ряд испытаний
Не нами.

Но больно,
Что жребии жизни святым побужденьям
враждебны;
В груди человека до них бы добраться
довольно...
Нет! вырвать и бросить; те язвы, быть может,
целебны, —
Но больно.

<1852>

* * *

Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад.
Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят.
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат — слышит только соловей...
Да и тот не слышит, — песнь его громка:
Разве слышат только сердце да рука:
Слышит сердце, сколько радостей земли,
Сколько счастья сюда мы принесли;
Да рука, услыша, сердцу говорит,
Что чужая в ней пылает и дрожит,
Что и ей от этой дрожи горячо,
Что к плечу невольно клонится плечо...

<1853>

* * *

Растут, растут причудливые тени,
В одну сливаясь тень...
Уж позлатил последние ступени
Перебежавший день.

Что звало жить, что силы горячило —
Далеко за горой.
Как призрак дня, ты, бледное светило,
Восходишь над землей.

И на тебя как на воспоминанье
Я обращаю взор...
Смолкает лес, бледней ручья сиянье,
Потухли выси гор;

Лишь ты одно скользишь стезей лазурной;
Недвижно всё окрест...
Да сыпет ночь своей бездонной урной
К нам мириады звезд.

<1853>

НА ДНЕПРЕ В ПОЛОВОДЬЕ

А. Я. Панаевой

Светало. Ветер гнул упругое стекло
Днепра, еще в волнах не пробуждая звука.
Старик отчаливал, опершись на весло,
А между тем ворчал на внука.

От весел к берегу кудрявый след бежал;
Струи под лодкой закипели;
Наш парус, медленно надувшись, задрожал,
И мы как птица полетели.

И ярким золотом и чистым серебром
Змеились облаков прозрачных очертанья;
Над разыгравшимся, казалось, Днепром
Струилися от волн и трав благоуханья.

За нами мельница едва-едва видна
И берег посинел зеленый...
И вот под лодкою вздрогнувшей быстрине
Сверкает сталью вороненой...

А там затопленный навстречу лес летел...
В него зеркальные врывались заливы;
Над сонной влагою там тополь зеленел,
Белели яблони и трепетали ивы.

И под лобзания немолкнувшей струи
Певцы, которым лес да волны лишь внимали,
С какой-то негою задорной соловьи
Пустынный воздух раздражали.

Вот изумрудный луг, вот желтые пески
Горят в сияньи золотистом;
Вон утка крадется в тростник, вон кулики
Беспечно бегают со свистом...

Остался б здесь дышать, смотреть и слушать
век...

<1853>

* * *

Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью.
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.

Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,
По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска. . .

И только. . . Но песня разлуки
Несбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки,
И льнут к моему изголовью.

<1853>

СТАРЫЙ ПАРК

Сбирались умирать последние цветы
И ждали с грустью дыхания мороза;
Краснели по краям кленовые листья,
Горошек отцветал, и осыпалась роза.

Над мрачным ельником проснулася заря,
Но яркости ее не радовались птицы;
Однообразный свист лишь слышен снегиря,
Да раздражает писк насмешливой синицы.

Беседка старая над пропастью видна.
Вхожу. Два льва без лап на лестнице
встречают.

Полузатертые чужие имена,
Сплетаясь меж собой, в глазах моих мелькают.

Гляжу. У ног моих отвесною стеной
Мне сосен кажутся недвижные вершины,
И горная тропа, размытая водой,
Виясь как желтый змей, бежит на дно долины.

И солнце вырвалось из тучи, и лучи,
Блеснув как молния, в долину долетели.
Отсюда вижу я, как бьют в пруде ключи
И над травой стоят недвижные форелли.

Один. Ничьих шагов не слышу за собой.
В душе уныние, усилие во взоре.
А там, за соснами, как купол голубой,
Стоит бесстрастное, безжалостное море.

Как чайка, парус там белеет в высоте.
Я жду, потонет он, но он не утопает
И, медленно скользя по выгнутой черте,
Как волокнистый след пропавшей тучки тает.

1853 (?)

* * *

Не говори, мой друг: «Она меня забудет.
Изменчив времени всемогущего полет;
Измученной души напрасный жар пройдет,
И образ роковой преследовать не будет
Очей задумчивых; свободней и смелей
Вдохнет младая грудь; замедленных речей
Польется снова ток блистательный и сладкой;
Ланиты расцветут — и в зеркало украдкой
Невольно станет взор с вопросом забегать, —
Опять весна в груди — и счастье опять».
Мой милый, не лелей прекрасного обмана:
В душе мечтательной смертельна эта рана.
Видал ли ты в лесах под тению дубов
С винтовками в руках засевших шалунов,
Когда с холмов крутых, окрестность оглашая,
Несется горячо согласных гончих стая
И, праздным юношам дриад жестоких дань,
Уже из-за кустов выскакивает лань?
Вот-вот и выстрелы — и в переливах дыма
Еще быстрее лань, как будто невредима,
Проклятьям вопреки и хохоту стрелков,
Уносится во мглу безбрежную лесов, —
Но ловчий опытный уж на позыв победный
К сомкнувшимся губам рожок подносит
медный.

<1854>

* * *

Еще весны душистой нега
К нам не успела низойти,
Еще овраги полны снега,
Еще зарей гремит телега
На замороженном пути.

Едва лишь в полдень солнце греет,
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей еще не смеет
Запеть в смородинном кусте.

Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных журавлях.
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

<1854>

ПЧЕЛЫ

Пропаду от тоски я и лени,
Одинокая жизнь не мила,
Сердце ноет, слабеют колени,
В каждый гвоздик душистой сирени,
Распевая, вползает пчела.

Дай хоть выйду я в чистое поле
Иль совсем потеряюсь в лесу...
С каждым шагом не легче на воле,
Сердце пышет всё боле и боле,
Точно уголь в груди я несу.

Нет, постой же! С тоскою моею
Здесь расстанусь. Черемуха спит.
Ах, опять эти пчелы под нею!
И никак я понять не умею,
На цветах ли, в ушах ли звенит.

<1854>

ПЕРВЫЙ ЛАНДЫШ

О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей;
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!
Какие в нем нисходят сны!
Как ты пленителен, подарок
Воспламеняющей весны!

Так дева в первый раз вздыхает —
О чем — неясно ей самой, —
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.

<1854>

* * *

Как здесь свежо под липою густою —
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.

А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.

За мглой ветвей синеют неба своды,
Как дымкою подернуты слегка,
И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

<1854>

* * *

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

С вечера всё спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.

Выйдешь — поневоле
Тяжело — хоть плачь!
Смотришь — через поле
Перекасти-поле
Прыгает как мяч.

< 1854 >

СТЕПЬ ВЕЧЕРОМ

Клубятся тучи, млея в блеске алом,
Хотят в росе понежиться поля,
В последний раз, за третьим перевалом,
Пропал ямщик, звеня и не пыля.

Нигде жилья не видно на просторе.
Вдали огня иль песни — и не ждешь!
Всё степь да степь. Безбрежная, как море,
Волнуется и наливает рожь.

За облаком до половины скрыта,
Луна светить еще не смеет днем.
Вот жук взлетел и прожужжал сердито,
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом.

Покрылись нивы сетью золотистой,
Там перепел откликнулся вдали,
И слышу я, в изложине росистой
Вполголоса скрипят коростели.

Уж сумраком пытливый взор обманут.
Среди тепла прохладой стало дуть.
Луна чиста. Вот с неба звезды глянут,
И как река засветит Млечный Путь.

<1854>



Над озером лебедь в тростник протянул,
В воде опрокинулся лес,
Зубцами вершин он в заре потонул,
Меж двух изгибаясь небес.

И воздухом чистым усталая грудь
Дышала отрадно. Легли
Вечерние тени. — Вечерний мой путь
Краснел меж деревьев вдали.

А мы — мы на лодке сидели вдвоем,
Я смело налег на весло,
Ты молча покорным владела рулем,
Нас в лодке как в люльке несло.

И детская челн направляла рука
Туда, где, блестя чешуей,
Вдоль сонного озера быстро река
Бежала как змей золотой.

Уж начали звезды мелькать в небесах...
Не помню, как бросил весло,
Не помню, что пестрый нашептывал флаг,
Куда нас потоком несло!

<1854>

СОСНЫ

Средь кленов девственных и плачущих берез
Я видеть не могу надменных этих сосен;
Они смущают рой живых и сладких грез,
И трезвый вид мне их несносен.

В кругу воскреснувших соседей лишь оне
Не знают трепета, не шепчут, не вздыхают
И, неизменные, ликующей весне
Пору зимы напоминают.

Когда уронит лес последний лист сухой
И, смолкнув, станет ждать весны
и возрожденья, —
Они останутся холодной красой
Пугать иные поколенья.

<1854>

В САДУ

Приветствую тебя, мой добрый, старый сад.
Цветущих лет цветущее наследство!
С улыбкой горькою я пью твой аромат,
Которым некогда мое дышало детство.

Густые липы те ж, но заросли слова,
Которые в тени я вырезал искусно,
Хватает за ноги заглохшая трава,
И чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно.

Как будто с трепетом здесь каждого листа
Моя пробудится и затрепещет совесть,
И станут лепетать знакомые места
Давно забытую, оплаканную повесть.

И скажут: «Помним мы, как ты играл и рос,
Мы помним, как потом, в последний час
разлуки,
Венком из молодых и благовонных роз
Тебя здесь нежные благословляли руки.

Скажи: где розы те, которые такой
Веселой радостью и свежестью дышали?»
Одни я раздарил с безумством и тоской,
Другие растерял — и все они увяли.

А вы — вы молоды и пышны до конца.
Я рад — и радости вполне вкусить не смею;
Стою как блудный сын перед лицом отца,
И плакать бы хотел — и плакать не умею!

<1854>

* * *

Не спрашивай, над чем задумываюсь я:
Мне сознаваться в том и тягостно и больно;
Мечтой безумною полна душа моя
И в глубь минувших лет уносится невольно.

Сиянье прелести тогда в свой круг влекло:
Взглянул — и пылкое навстречу сердце рвется!
Так голубь, бурю застигнутый, в стекло,
Как очарованный, крылом лазурным бьется.

А ныне пред лицом сияющей красоты
Нет этой слепоты и страсти безответной,
Но сердце глупое, как ветхие часы,
Коли забьет порой, так всё свой час заветный.

Я помню, отроком я был еще; пора
Была туманная, сирень в слезах дрожала;
В тот день лежала мать больна, и со двора
Подруга игр моих надолго уезжала.

Не мчались ласточки, звеня, перед окном,
И мошек не толклись блестящих вереницы,
Сидели голуби, нахохлившись, рядом,
И в липник прятались умолкнувшие птицы.

А над колодезем, на вздернутом шесте,
Где старая бадья болталась как подвеска,
Закаркал ворон вдруг, чернея в высоте, —
Закаркал как-то зло, отрывисто и резко.

Тот плач давно умолк, — кругом и смех и шум;
Но сердце вечно, зная, пугаться не отвыкнет;
Гляжу в твои глаза. люблю их нежный ум...
И трепещу — вот-вот зловещий ворон крикнет.

<1854>

ПЕРВАЯ БОРОЗДА

Со степí зелено-серой
Подымается туман,
И торчит еще Церерой
Ненавидимый бурьян.

Ржавый плуг опять светлеет;
Где волы, склонясь, прошли,
Лентой бархатной чернеет
Глыба взрезанной земли.

Чем-то блещут свежим, нежным
Солнца вешние лучи,
Вслед за пахарем прилежным
Ходят жадные грачи.

Ветерок благоухает
Сочной почвы глубиной, —
И Юпитера встречает
Лоно Геи молодой.

<1854>

* * *

Ты расточительна на милые слова,
А в сердце мне не шлешь отрадного привета
И втайне думаешь: причудлива, черства
 Душа суровая поэта.

Я тоже жду; я жду, нельзя ли превозмочь
Твоей холодности, подметить миг участия,
Чтобы в глазах твоих, загадочных как ночь,
 Затрепетали звезды счастья.

Я жду, я жажду их; мечтателю в ночи
Сиянья не встречать пышнее и прелестней,
И знаю — низойдут их яркие лучи
 Ко мне и трепетом, и песней.

<1854>

ЛЕС

Куда ни обращаю взор,
Кругом синее мрачный бор
И день права свои утратил.
В глухой дали стучит топор,
Вблизи стучит вертлявый дятел.

У ног гниет столетний лом,
Гранит чернеет, и за пнем
Прижался заяц серебристый,
А на сосне, поросшей мхом,
Мелькает белки хвост пушистый.

И путь заглох и одичал,
Позеленелый мост упал
И лег, скосясь, во рву размытом,
И конь давно не выступал
По нем подкованным копытом.

< 1854 >

* * *

Какое счастье: и ночь, и мы одни!
Река — как зеркало и вся блестит звездами;
А там-то... голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!

О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!

Я болен, я влюблен; но, мучась и любя —
О слушай! о пойми! — я страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя —
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

<1854>

* * *

Что за ночь! Прозрачный воздух скован;
Над землей клубится аромат.
О, теперь я счастлив, я взволнован,
О, теперь я высказаться рад!

Помнишь час последнего свиданья!
Безотраден сумрак ночи был;
Ты ждала, ты жаждала признанья —
Я молчал: тебя я не любил.

Холодела кровь, и сердце ныло:
Так тяжка была твоя печаль;
Горько мне за нас обоих было,
И сказать мне правду было жаль.

Но теперь, когда дрожу и млею
И, как раб, твой каждый взор ловлю,
Я не лгу, назвав тебя своею
И клянясь, что я тебя люблю!

<1854>

МУЗА

Не в сумрачный чертог наяды говорливой
Пришла она пленять мой слух самолюбивый
Рассказом о щитах, героях и конях,
О шлемах кованых и сломанных мечах.
Скрывая низкий лоб под ветвию лавровой,
С цитарой золотой иль из кости слоновой,
Ни разу на моем не прилегла плече
Богиня гордая в расшитой епанче.
Мне слуха не ласкал язык ее могучий,
И гибкий, и простой, и звучный без созвучий.
По воле пиерид с достоинством певца
Я не мечтал стяжать широкого венца.
О нет! Псд дымкою ревнивой покрывала
Мне музу молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волос
Головку дивную узлом тяжелых кос;
Цветы последние в руке ее дрожали;
Отрывистая речь была полна печали,
И женской прихоти, и серебристых грез,
Невысказанных мук и непонятных слез.
Какой-то негою томительной волнуем,
Я слушал, как слова встречались поцелуем,
И долго без нее душа была больна
И несказанного стремления полна.

<1854>

ИВА

Сядем здесь, у этой ивы.
Что за чудные извивы
На коре вокруг дупла!
А под ивой как красивы
Золотые переливы
Струй дрожащего стекла!

Ветви сочные дугою
Перегнулись над водою,
Как зеленый водопад;
Как живые, как иглою,
Будто споря меж собою,
Листья воду бороздят.

В этом зеркале под ивой
Уловил мой глаз ревнивый
Сердцу милые черты...
Мягче взор твой горделивый...
Я дрожу, глядя, счастливый,
Как в воде дрожишь и ты.

< 1854 >

ШАРМАНЩИК

К окну я в потемках приник —
Ну, право, нельзя неуместней:
Опять в переулке старик
С своей неотвязною песней!

Те звуки свистят и поют,
Нескладно-тоскливо-неловки...
Встают предо мною, встают
За рамой две светлых головки.

Над ними поверхность стекла
При месяце ярко-кристальна.
Одна так резво-весела,
Другая так томно-печальна.

И — старая песня! — с тоской
Мы прошлое нежно лелеем,
И жаль мне и той и другой,
И рад я сердечно обеим.

Меж них в промежутке видна
Еще голова молодая, —
И всё он хорош, как одна,
И всё он грустит, как другая.

Он предан навеки одной
И грусти терзаем приманкой. . .
Уйдешь ли ты, гаер седой,
С твоей неотвязной шарманкой? . .

<1854>

К мысли заветной стремится. Вот, вот опаленные
крылья,
Круг описавши во мраке, несутся в неверном
полете
Пытку свою обновлять добровольную. Я же
не знаю,
Что добровольным зовется и что неизбежным
на свете...

<1854>

* * *

Жди ясного на завтра дня.
Стрижи мелькают и звенят.
Пурпурной полосой огня
Прозрачный озарен закат.

В заливе дремлют корабли, —
Едва трепещут вымпела.
Далеко небеса ушли —
И к ним морская даль ушла.

Так робко набегаёт тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: ми́нул день,
Не говоришь: настала ночь.

1854

БУРЯ

Свежеет ветер, меркнет ночь,
А море злей и злей бурлит,
И пена плещет на гранит —
То прынет, то отхлынет прочь.

Всё раздражительней бурун;
Его шипучая волна
Так тяжела и так плотна,
Как будто в берег бьет чугун.

Как будто бог морской сейчас,
Всесилен и неумолим,
Трезубцем пригрозя своим,
Готов воскликнуть: «Вот я вас!»

1854

ПАРОХОД

Злой дельфин, ты просишь ходу,
Ноздри пышут, пар валит,
Сердце мощное кипит,
Лапы с шумом роют воду.

Не лишай родной земли
Этой девы, этой розы;
Погоди, прощанья слезы
Вдохновенные продли!

Но напрасно... Конь морской,
Ты понесся быстрой птицей —
Только пляшут вереницей
Нереиды за тобой.

1854

ВЕСНА НА ДВОРЕ

Как дышит грудь свежо и емко —
Слова не выразят ничьи!
Как по оврагам в полдень громко
На пену прядают ручьи!

В эфире песнь дрожит и тает,
На глыбе зеленеет рожь —
И голос нежный напевает:
«Еще весну переживешь!»

< 1855 >

ВЕЧЕР

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.

На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханьи ночью, —
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.

<1855>

ДИАНА, ЭНДИМИОН И САТИР

(КАРТИНА БРЮЛЛОВА)

У звучного ключа как сладок первый сон!
Как спящий при луне хорош Эндимион!
Герои только так покоятся и дети.
Над чудной головой висят рожок и сети;
Откинутый колчан лежит на стороне;
Собаки верные встревожены — оне
Не видят смертного и чуют приближенье.
Ты ль, непорочная, познала вождельенье?
Счастливец! ты его узрела с высоты,
И небо для него должна покинуть ты.
Девическую грудь невольный жар объемлет.
Диана, берегись! старик сатир не дремлет.
Я слышу стук копыт. Рога прикрыв венцом,
Вот он, любовник нимф, с пылающим лицом,
Обезображенным порывом страсти зверской,
Уж стана нежного рукой коснулся дерзкой.
О, как вздрогнула ты, как обернулась вдруг!
В лице божественном и гордость и испуг.
А баловень Эрот, доволен шуткой новой,
Готов на кулаке прохлопнуть лист кленовый.

<1855>

* * *

Последний звук умолк в лесу глухом,
Последний луч погаснул за горою...
О, скоро ли в безмолвии ночном,
Прекрасный друг, увижусь я с тобою?

О, скоро ли младенческая речь
В испуг мое изменит ожиданье?
О, скоро ли к груди моей прилечь
Ты поспешишь, вся трепет, вся желанье?

Скользит туман прозрачный над рекой,
Как твой покров, свиваясь и белея...
Час фей настал! Увижусь ли с тобой
Я в царстве фей, мечтательная фея?

Иль заодно с тобой и ночь, и мгла
Меня томят и нежат в заблужденьи?
Иль это страсть больная солгала
И жар ночной потухнет в песнопеньи?

<1855>

* * *

О друг, не мучь меня жестоким приговором!
Я оскорбить тебя минувшим не хочу.
Оно пленительным промчалось метеором...
С твоим я встретиться робел и жаждал взором
И приходил молчать. Я и теперь молчу.

Добра и красоты в чертах твоих слиянье
По-прежнему еще мой подкупает ум.
Я вижу — вот оно, то нежное создание,
К которому я нес весь пыл, всё упование
Безумных, радостных, невысказанных дум.

Но помнишь ли? — весной гремела песнь лесная
И кликал соловей серебряные сны;
Теперь душистей лес, пышнее тень ночная,
И хочет соловей запеть, как утром мая...
Но робко так не пел он в первый день весны.

<1855>

* * *

Вчера, увенчана душистыми цветами,
Смотрела долго ты в зеркальное окно
На небо синее, горевшее звездами,
В аллею тополей с дрожащими листьями. —
В аллею, где вдали так страшно и темно.

Забыла, может быть, ты за собою в зале
И яркий блеск свечей, и нежные слова...
Когда помчался вальс и струны рокотали, —
Я видел — вся в цветах, исполнена печали,
К плечу слегка твоя склонилась голова.

Не думала ли ты: «Вон там, в беседке дальней,
На мраморной скамье теперь он ждет меня
Под сумраком дерев, ревнивый и печальный;
Он взоры утомил, смотря на вихорь бальный,
И ловит тень мою в сиянии огня».

<1855>

* * *

Заревая вьюга
Всё позамела,
А ревнивый месяц
Смотрит вдоль села.

Подойти к окошку —
Долго ль до беды?
А проснутся завтра —
Разберут следы.

В огород — собаки
Изорвут, гляди.
«Приходи сегодня» —
И нельзя нейти!

По плетню простенком
Проберусь как раз, —
Ни свекровь, ни месяц
Не увидят нас!

Осень или зима 1855

* * *

Забудь меня, безумец иступленный,
Покоя не губи.
Я создана душой твоей влюбленной,
Ты призрак не люби!

О, верь и знай, мечтатель малодушный,
Что, мучась и стена,
Чем ближе ты к мечте своей воздушной,
Тем дальше от меня.

Так над водой младенец, восхищенный
Луной, подьмет крик;
Он бросился — и с влаги возмущенной
Исчез сребристый лик.

Дитя, отри заплаканное око,
Не доверяй мечтам.
Луна плывет и светится высоко,
Она не здесь, а там.

1855

ПАМЯТИ Д. Л. КРЮКОВА

Когда светильником пред нашими очами
Ко храму римских муз ты озарял ступень
И чудилось нам невольно, что над нами
Горация витает тень, —

Впервые тихие и радостные слезы
Исторгнул дышащий из уст твоих певец:
Пленили нас его неблекнувшие розы
И зеленеющий венец.

В замолкнувший чертог к Минерве и
к Зевесу
Вслед за тобой толпа ликующая шла, —
И тихо древнюю ты раздвигал завесу
С громодержащего орла.

Но светоч твой угас. Надежного союза
Судьба не обрекла меж нами и тобой —
И, лиру уронив, поникла молча муза
В слезах над урной гробовой.

1855

* * *

Я уезжаю. Замирает
В устах обычное «прости».
Куда судьба меня кидает?
Куда мне грусть мою нести?

Молчу. Ко мне всегда жестокой
Была ты много, много лет, —
Но, может быть, в стране далекой
Я вдруг услышу твой привет.

В долине иногда, прощаясь,
Крутой минувши поворот,
Напрасно странник, озираясь,
Другого голосом зовет.

Но смерклось, — над стеною черной
Горят извивы облаков, —
И там, внизу, с тропы нагорной
Ему прощальный слышен зов.

Середина 50-х гг.

ОДИНОКИЙ ДУБ

Смотри, — синяя друг за другом,
Каким широким полукругом
Уходят правнуки твои!
Зачем же тенью благотворной
Всё кружишь ты, старик упорный,
По рубежам родной земли?

Когда ж неведомым страданьям,
Когда жестоким испытаньям
Придет медлительный конец?
Иль вечно понапрасну годы
Рукой суровой непогоды
Упрямый щиплют твой венец?

И под изрытою корою
Ты полон силой молодою.
Так старый витязь, сверстник твой,
Не остывал душой с годами
Под иззубренною мечами,
Давно заржавленной броней.

Всё дальше, дальше с каждым годом
Вокруг тебя незримым ходом
Ползет простор твоих корней,

И, в их кривые промежутки
Гнездясь, с пригорка незабудки
Глядят смелее в даль степей.

Когда же, вод взломав оковы,
Весенний ветер несет в дубровы
Твои поблеклые листы,
С ним вести на простор широкий,
Что жив их прашур одинокий,
Ко внукам посылаешь ты.

<1856>

* * *

В темноте, на треножнике ярком
Мать варила черешни вдали...
Мы с тобой отворили калитку
И по темной аллее пошли.

Шли мы розно. Прохлада ночная
Широко между нами плыла.
Я боялся, чтоб в помысле смелом
Ты меня упрекнуть не могла.

Как-то странно мы оба молчали
И странней сторонились прочь...
Говорила за нас и дышала
Нам в лицо благовонная ночь.

<1856>

НА ЛОДКЕ

Ты скажешь, брося взор по голубой равнине:
«И небо, и вода».
Здесь остановим челн, по самой середине
Широкого пруда.

Буграми с колеса волнение не клокочет, —
Чуть-чуть блестят струи.
Так тихо, будто ночь сама подслушать хочет
Рыдания любви.

До слуха чуткого мечтаньями ночными
Доходит плеск ручья.
Осыпана кругом звездами золотыми,
Покоится ладья.

Гляжу в твое лицо, в сияющие очи,
О добрый гений мой!
Лицо твое — как день, ты вся при свете ночи —
Как призрак неземной!

Теперь, волшебница, иной могучей власти
У неба не проси.
Всю эту ночь, весь блеск, весь пыл безумной
страсти
Возьми — и погаси!

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лице разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

1856

ОТВЕТ ТУРГЕНЕВУ

Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью
Мы любим родину с тобой?
Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью,
Готово сердце в нас истечь до капли кровью
По красоте ее родной?

Что ж! пусть весна у нас позднее и короче,
Но вот дождались наконец:
Синей, мечтательней божественные очи,
И раздражительней немеркнувшие ночи,
И зеленей ее венец.

Вчера я шел в ночи и помню очертанье
Багряно-золотистых туч.
Не мог я разгадать: то яркое сиянье —
Вечерней ли зари последнее прощанье
Иль утра пламенного луч?

Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно,
Столица севера спала,
Под обаяньем сна горда и неизменна,
И над громадой ночь, бледна и вдохновенна,
Как ясновидящая шла.

Не верилось мне, а взоры различали,
Скользя по ясной синеве,
Чьи корабли вдали на рейде отдыхали, —
А воды, не струясь, под ними отражали
Все флаги пестрые в Неве.

Заныла грудь моя, но в думах окрыленных
С тобой мы встретились, друг!
О, верь, что никогда в объятьях раскаленных
Не мог таких ночей, вполне разоблаченных,
Лелеять сладострастный юг!

Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ

Напрасно жизнь зовешь ты жалкою ошибкой,
И, тихо наклонясь усталой головой,
Напрасно смотришь ты с язвительной улыбкой
На благородный подвиг свой.

Судьба тебя тоской несправедливой истерзала,
В измученной груди волшебный голос жив;
В нем слышен жар любви, в нем жажда идеала
И сердца смелого порыв.

Так, навсегда простясь с родимую скалою,
Затерянный в песках рассыпчатых степей,
Встречает путников, томящихся от зною,
Из камня брызнувший ручей.

1856

У КАМИНА

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек.

Видений пестрых вереница
Влечет, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят.

Встает ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

1856

* * *

В леса безлюдной стороны
И чуждой шумному веселью
Меня порой уносят сны
В твою приветливую келью.

В благоуханьи простоты,
Цветок — дитя дубравной сени,
Опять встречать выходишь ты
Меня на шаткие ступени.

Вечерний воздух влажно чист,
Вся покраснев, ты жмешь мне руки,
И, сонных лип тревожа лист,
Порхают гаснущие звуки.

1856 (?)

* * *

Только станет смеркаться немножко,
Буду ждать, не дрогнёт ли звонок,
Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок.

Потушу перед зеркалом свечи, —
От камина светло и тепло;
Стану слушать веселые речи,
Чтобы вновь на душе отлегло.

Стану слушать те детские грезы,
Для которых — всё блеск впереди;
Каждый раз благодатные слезы
У меня закипают в груди.

До зари осторожной рукою
Вновь платок твой узлом завяжу,
И вдоль стен, озаренных луною,
Я тебя до ворот провожу.

1856 (?)

ПРИБОЙ

Утесы. Зной и сон в пустыне,
Песок да звонкий хрящ кругом,
И вдалеке земной твердыне
Морские волны бьют челом.

На той черте уже безвредный,
Не докатясь до красных скал,
В последний раз зелено-медный
Сверкает Средиземный вал;

И, забывая век свой бурный,
По пестрой отмели бежит
И преломленный и лазурный;
Но вот преграда — он кипит,

Жемчужной пеною украшен,
Встает на битву со скалой
И, умирающий, всё страшен
Всею перейденной глубиной.

1856 или 1857

НА КОРАБЛЕ

Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.

Дрожит и сердце, грудь заняла:
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Куда невидимая сила
Ее неволей унесла.

Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

1856 или 1857

* * *

Весна и ночь покрыли дол,
Душа бежит во мрак бессонный,
И внятно слышен ей глагол
Стихийной жизни, отрешенной.

И неземное бытiе
Свой разговор ведет с душою
И веет прямо на нее
Своею вечною струею.

Но вот заря! Бледнеет тень,
Туман волнуется и тает, —
И встретить очевидный день
Душа с восторгом вылетает.

1856 или 1857 (?)

ИТАЛИЯ

Италия, ты сердцу солгала!
Как долго я в душе тебя лелеял, —
Но не такой мечта тебя нашла,
И не родным мне воздух твой повеял.

В твоих степях любимый образ мой
Не мог, опять воскреснувши, не вырасть;
Сын севера, люблю я шум лесной
И зелени растительную сырость.

Твоих сынов паденье и позор
И нищету увидя, содрогаюсь;
Но иногда, суровый приговор
Забыв, опять с тобою примиряюсь.

В углах садов и старческих руин
Нередко жар я чувствую мгновенный
И слушаю — и кажется, один
Я слышу гимн Сивиллы вдохновенной.

В подобный миг чужие небеса
Неведомой мне в душу веют силой,
И я люблю, увядшая краса,
Твой долгий взор, надменный и унылый,

И ящериц, мелькающих кругом,
И негу их на нестерпимом зное,
И страстного кумира под плющом
Раскидистым увечье вековое.

Между 1856 и 1858

НА РАЗВАЛИНАХ ЦЕЗАРСКИХ ПАЛАТ

Над грудой мусора, где плющ тоскливо вьется,
Над сводами глухих и темных галерей
В груди моей сильней живое сердце бьется,
И в жилах кровь бежит быстрей.

Пускай вокруг меня, тяжелые громады,
Из праха восстают и храмы, и дворцы,
И драгоценные пестреют колоннады,
И воскресают мертвецы,

И шум на площади, и женщин вереница,
И вновь увенчанный святой алтарь горит,
И из-под новых врат золотая колесница
К холму заветному спешит.

Нет! нет! не ослепишь души моей тревожной!
Пускай я не дерзну сказать: «Ты не велик»,
Но, Рим, я радуюсь, что грустный и ничтожный
Ты здесь у ног моих приник!

Безжалостный квирит, тебя я ненавижу
За то, что на земле ты видел лишь себя,
И даже в зрелищах твоих кровавых вижу,
Что музы прокляли тебя.

Там наконец я всё, чего душа алкала,
Ждала, надеялась, на склоне лет найду
И с лона тихого земного идеала
На лоно вечности с улыбкой перейду.

<1857>

ЕЩЕ МАЙСКАЯ НОЧЬ

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

<1857>

ПЕВИЦЕ

Уноси мое сердце в звенящую даль,
Где как месяц за рощей печаль;
В этих звуках на жаркие слезы твои
Кротко светит улыбка любви.

О дитя! как легко средь незримых зыбей
Доверяться мне песне твоей:
Выше, выше плыву серебристым путем,
Будто шаткая тень за крылом.

Вдалеке замирает твой голос, горя,
Словно за морем ночью заря, —
И откуда-то вдруг, я понять не могу,
Грянет звонкий прилив жемчугу.

Уноси ж мое сердце в звенящую даль,
Где кротка, как улыбка, печаль,
И всё выше помчусь серебристым путем
Я, как шаткая тень за крылом.

<1857>

БАЛ

Когда трепещут эти звуки
И дразнит ноющий смычок,
Слагая на коленях руки,
Сажусь в забытый уголок.

И, как зари румянец дальный
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.

О, как, ничем неукротимо,
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!

Чего хочу? Иль, может статься,
Бывалой жизнью дыша,
В чужой восторг переселяться
Заране учится душа?

< 1857 >

ANRUF AN DIE GELIEBTE¹ БЕТХОВЕНА

Пойми хоть раз тоскливое признание,
Хоть раз услышь души молящей стон!
Я пред тобой, прекрасное создание,
Безвестных сил дыханьем окрылен.

Я образ твой ловлю перед разлукой,
Я, полон им, и млею, и дрожу,
И, без тебя томясь предсмертной мукой,
Своей тоской, как счастьем, дорожу.

Ее пою, во прах упасть готовый.
Ты предо мной стоишь как божество —
И я блажен; я в каждой муке новой
Твоей красы провижу торжество.

<1857>

¹ Призыв к любимой (нем.). — *Ред.*

* * *

На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.

Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.

Я ль неся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Всё невозвратнее тону.

<1857>

* * *

Был чудный майский день в Москве;
Кресты церквей сверкали,
Вились касатки под окном
И звонко щебетали.

Я под окном сидел, влюблен,
Душой и юн и болен.
Как пчелы, звуки вдалеке
Жужжали с колоколен.

Вдруг звуки стройно, как орган,
Запели в отдаленьи;
Невольно дрогнула душа
При этом стройном пеньи.

И шел и рос поющий хор, —
И непонятной силой
В душе сливался лик небес
С безмолвною могилой.

И шел и рос поющий хор, —
И черною грядюю
Тянулся набожно народ
С открытой головою.

И миновал поющий хор,
Его я минул взором,
И гробик розовый прошел
За громогласным хором.

Струился теплый ветерок,
Покровы колыхая,
И мне казалось, что душа
Парила молодая.

Весенний блеск, весенний шум,
Молитвы стройной звуки —
Всё тихим веяло крылом
Над грустию разлуки.

За гробом шла, шатаясь, мать.
Надгробное рыданье! —
Но мне казалось, что легко
И самое страданье.

<1857>

ШИЛЛЕРУ

Орел могучих, светлых песен!
С зарей открыл твой вещий взор,
Как бледен, как тоскливо тесен
Земного ока кругозор!

Впервой ширяясь, мир ты мерил
Отважным взмахом юных крыл...
Никто так гордо в свет не верил,
Никто так страстно не любил.

И, веселясь над темной бездной,
Сокрывшей светлый идеал,
Никто земной в предел надзвездный
Парить так смело не дерзал.

Один ты океан эфира
Крылом надежным облетел
И в сердце огненное мира
Очами светлыми глядел.

С тех пор у моря света вечно
Твой голос всё к себе зовет,
Что́ в человеке человечно
И что́ в бессмертном не умрет.

<1857>

* * *

Я был опять в саду твоём,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоём
Бродили, говорить не смея.

Как сердце робкое влекло
Излить надежду, страх и пени, —
А юный лист тогда назло
Нам посылал так мало тени.

Теперь и тень в саду темна
И трав сильней благоуханье;
Зато какая тишина,
Какое томное молчанье!

Один зарею соловей,
Таясь во мраке, робко свищет,
И под навесами ветвей
Напрасно взор кого-то ищет.

Июнь 1857

* * *

Расстались мы, ты странствуешь далече,
Но нам дано опять
В таинственной и ежечасной встрече
Друг друга понимать.

Когда в толпе живой и своевольной,
Поникнув головой,
Смолкаешь ты с улыбкою невольной, —
Я говорю с тобой.

И вечером, когда в аллее темной
Ты пьешь немую ночь,
Знай, тополи и звезды негой томной
Мне вызвались помочь.

Когда ты спишь, и полог твой кисейный
Раздвинется в лучах,
И сон тебя прозрачный, тиховейный
Уносит на крылах,

А ты, летя в эфир неизмеримый,
Лепечешь: «Я люблю», —
Я — этот сон, и я рукой незримой
Твой полог шевелю.

АПОЛЛОН БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ

Упрямый лук, с прицела чуть склонен,
Еще дрожит за тетивую шаткой
И не успел закинутый хитон
Пошевелить нетронутою складкой.

Уже, томим язвительной стрелой,
Крылатый враг в крови изнемогает,
И черный хвост, сверкая чешуей,
Свивается и тихо замирает.

Стреле вослед легко наклонено
Омытое в струях кастальских тело.
Оно сквозит и светится — оно
Веселием триумфа просветлело.

Твой юный лик отважен и могуч,
Победою усилено дыханье.
Так солнца диск, прорезав сумрак туч,
Еще бойчей глядит на мирозданье.

1857

* * *

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, чернее тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.

1857 (?)

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

1857 (?)

* * *

Как хорош чуть мерцающим утром,
Амфитрита, твой влажный венок!
Как огнем и сквозным перламутром
Убирает Аврора восток!

Далеко на песок отодвинут
Трав морских бесконечный извив,
Свод небесный, в воде опрокинут,
Испещряет румянцем залив.

Остров вырос над тенью зеленой;
Ни движенья, ни звука в тиши,
И, погнувшись над влагой соленой,
В крупных каплях стоят камыши.

1857 (?)

* * *

Морская даль во мгле туманной;
Там парус тонет, как в дыму,
А волны в злобе постоянной
Бегут к побережью моему.

Из них одной, избранной мною,
Навстречу пристально гляжу
И за грядой ее крутою
До камня влажного слежу.

К ней чайка плавная спустилась, —
Не дрогнет острое крыло.
Но вот громада докатилась,
Тяжеловесна, как стекло;

Плеснула в каменную стену,
Вот звонко грянет на плиту —
А уж подкинутую пену
Разбрызнул ветер на лету.

1857 (?)

ЦВЕТЫ

С полей несется голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада
Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской влюбленной,
Безгрешно чисты, как весна,
Роняя с пылью благовонной
Плодов румяных семена.

Сестра цветов, подруга розы,
Очами в очи мне взгляни,
Навей живительные грезы
И в сердце песню зарони.

<1858>

* * *

Вчера я шел по зале освещенной,
Где так давно встречались мы с тобой.
Ты здесь опять! Безмолвный и смущенный,
Невольно я поникнул головой.

И в темноте тревожного сознания
Былые дни я различал едва,
Когда шептал безумные желанья
И говорил безумные слова.

Знакомыми напевами томимый,
Стою. В глазах движенье и цветы —
И кажется, летя под звук любимый,
Ты прошептала кротко: «Что же ты?»

И звуки те ж, и те ж благоуханья,
И чувствую — пылает голова,
И я шепчу безумные желанья
И лепечу безумные слова.

<1858>

* * *

Нет, не жди ты песни страстной,
Эти звуки — бред неясный,
Томный звон струны;
Но, полны тоскливой муки,
Наведают эти звуки
Ласковые сны.

Звонким роем налетели,
Налетели и запели
В светлой вышине.
Как ребенок им внимаю,
Что́ сказалось в них — не знаю,
И не нужно мне.

Поздним летом в окна спальни
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова;
Но под легкий шум березы
К изголовью, в царство грезы
Никнет голова.

< 1858 >

* * *

Заря прощается с землею,
Ложится пар на дне долин,
Смотрю на лес, покрытый мглою,
И на огни его вершин.

Как незаметно потухают
Лучи и гаснут под конец!
С какою негой в них купают
Деревья пышный свой венец!

И всё таинственней, безмерней
Их тень растёт, растёт, как сон;
Как тонко по заре вечерней
Их легкий очерк вознесен!

Как будто, чуя жизнь двойную
И ей овеяны вдвойне, —
И землю чувствуют родную
И в небо просятся оне.

<1858>

РЫБКА

Тепло на солнышке. Весна
Берет свои права;
В реке местами глубь ясна,
На дне видна трава.

Чиста холодная струя,
Слежу за поплавком, —
Шалунья рыбка, вижу я,
Играет с червяком.

Голубоватая спина,
Сама как серебро,
Глаза — бурмитских два зерна,
Багряное перо.

Идет, не дрогнет под водой,
Пора — червяк во рту!
Увы, блестящей полосой
Юркнула в темноту.

Но вот опять лукавый глаз
Сверкнул невдалеке.
Постой, авось на этот раз
Повиснешь на крючке!

<1858>

ПСОВАЯ ОХОТА

Последний сноп свезен с нагих полей,
По стоптаным гуляет жнивьям стадо,
И тянется станица журавлей
Над липником замолкнувшего сада.

Вчера зарей впервые у крыльца
Вечерний дождь звездами начал стынуть.
Пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть!

В поля! В поля! Там с зелени бугров
Охотников внимательные взоры
Натешатся на острова лесов
И пестрые лесные косогоры.

Уже давно, осыпавшись с вершин,
Осинников редет глубь густая
Над гулками извивами долин
И ждет рогов да заливного лая.

Семьи волков притон вчера открыт,
Удастся ли сегодня травля наша?
Но вот русак сверкнул из-под копыт,
Всё сорвалось — и заварилась каша:

«Отбей собак! Скачи наперерез!»
И красный верх папахи вдаль помчался;
Но уж давно весь голосистый лес
На злобный лай стократно отозвался.

<1858>

* * *

Лесом мы шли по тропинке единственной
В поздний и сумрачный час.
Я посмотрел: запад с дрожью таинственной
Гас.

Что-то хотелось сказать на прощание, —
Сердца не понял никто;
Что же сказать про его обмирание?
Что?

Думы ли реют тревожно-несвязные,
Плачет ли сердце в груди, —
Скоро повысыплют звезды алмазные,
Жди!

<1858>

ТУРГЕНЕВУ

Прошла зима, затихла вьюга, —
Давно тебе, любовник юга,
Готовим тучного тельца;
В снегу, в колючих искрах пыли
В тебе мы друга не забыли
И заждались обнять певца.

Ты наш. Напрасно утром рано
Ты будишь стражей Ватикана.
Вот за решетку ты шагнул,
Вот улыбнулись антики,
И долго слышат мозаики
Твоих шагов бегущий гул.

Ты наш. Чужда и молчалива
Перед тобой стоит олива
Иль зонтик пинны молодой;
Но вечно радужные грезы
Тебя несут под тень березы,
К ручьям земли твоей родной.

Там всё тебя встречает другом:
Черней бразда бежит за плугом,

Там бархат степи зеленой,
И, верно, чуя, что просторней, —
Смелей, и слаще, и задорней
Весенний свищет соловей.

Начало 1858

* * *

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.

От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.

Ветер спит, и всё немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

1858 (?)

СОН И СМЕРТЬ

Богом света покинута, дочь Громовержца немая,
Ночь Гелиосу вослед водит возлюбленных
чад.
Оба и в мать и в отца зародились бессмертные
боги,
Только несходны во всем между собой
близнецы:
Смуглоликий, как мать, творец, как всезрящий
родитель,
Сон и во мраке никак дня не умеет забыть;
Но просветленная дочь лучезарного Феба,
дыханьем
Ночи безмолвной полна, невозмутимая
Смерть,
Увенчавши свое чело неподвижной звездой,
Не узнает ни отца, ни безутешную мать.

1858 или 1859

* * *

Пойду навстречу к ним знакомою тропею.
Какою нежною, янтарною зарею
Сияют небеса, нетленные, как рай.
Далеко выгнулся земли померкший край,
Прохлада вечера и дышит и не дышит
И колос зреющий едва-едва колышет.
Нет, дальше не пойду: под сению дубов
Всю ночь, всю эту ночь я просидеть готов,
Смотря в лицо зари иль вдоль дороги серой...
Какою молодой и безграничной верой
Опять душа полна! Как в этой тишине
Всем, всем, что жизнь дала, довольная вполне,
Иного уж она не требует удела.
Собака верная у ног моих присела
И, ухо чуткое насторожив слегка,
Глядит на медленно ползущего жука.
Иль мне послышалось? — В подобные мгновенья
Вдали колеблются и звуки, и виденья.
Нет, точно — издали доходит до меня
Нетерпеливый шаг знакомого коня.

<1859>

* * *

Опять незримые усилья,
Опять невидимые крылья
Приносят северу тепло;
Всё ярче, ярче дни за днями,
Уж солнце черными кругами
В лесу деревья обвело.

Заря сквозит оттенком алым,
Подернут блеском небывалым
Покрытый снегом косогор;
Еще леса стоят в дремоте,
Но тем слышнее в каждой ноте
Пернатых радость и задор.

Ручьи, журча и извиваясь
И меж собой перекликаясь,
В долину гулкую спешат,
И разыгравшиеся воды
Под беломраморные своды
С веселым грохотом летят.

А там по нивам на просторе
Река раскинулась как море,

Стального зеркала светлей,
И речка к ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стаю лебедей.

<1859>

* * *

Ярким солнцем в лесу пламенеет костер,
И, сжимаясь, трещит можжевельник;
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.

Я и думать забыл про холодную ночь, —
До костей и до сердца прогрело;
Что смущало, колеблясь умчалось прочь,
Будто искры в дыму улетело.

Пусть на зорьке, всё ниже спускаясь, дымок
Над золою замрет сиротливо;
Долго-долго, до поздней поры огонек
Будет теплиться скупю, лениво.

И лениво и скупю мерцающий день
Ничего не укажет в тумане;
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.

Но нахмурится ночь — разгорится костер,
И, вясь, затрещит можжевельник,
И, как пьяных гигантов столпившийся хор,
Покраснев, зашатается ельник.

<1859>

ГРЕЗЫ

Мне снился сон, что сплю я непробудно,
Что умер я и в грезы погружен;
И на меня ласкательно и чудно
Надежды тень навеял этот сон.

Я счастья жду, какого — сам не знаю.
Вдруг колокол — и всё уяснено;
И, просияв душой, я понимаю,
Что счастье в этих звуках. — Вот оно!

И звуки те прозрачнее, и чище,
И радостней всех голосов земли;
И чувствую — на дальнее кладбище
Меня под них, качая, понесли.

В груди восторг и сдавленная мука,
Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть
И, на волне ликующего звука
Умчась вдаль, во мраке потонуть.

<1859>

* * *

Кричат перепела, трещат коростели,
Ночные бабочки взлетели,
И поздних соловьев над речкою вдали
Звучат порывистые трели.

В напевах вечера тревожною душой
Ищу былого наслажденья —
Увы, как прежде, в грудь живительной струей
Они не вносят откровенья!

Но тем мучительней, как близкая беда,
Меня томит вопрос лукавый:
Ужели подошли к устам моим года
С такую горькою отравой?

Иль век смолкающий в наследство передал
Свои бесплодные мне муки,
И в одиночестве мне допивать фиал,
Из рук переходивший в руки?

Проходят юноши с улыбкой предо мной,
И слышу я их шепот внятный:
Чего он ищет здесь среди жизни молодой
С своей тоскою непонятной?

Спешите, юноши, и верить и любить,
Вкушать и труд и наслажденье.
Придет моя пора — и скоро, может быть,
Мое наступит возрожденье.

Приснится мне опять весенний, светлый сон
На лоне божески едином,
И мира юного, покоен, примирен,
Я стану вечным гражданином.

<1859>

ГЕОРГИНЫ

Вчера — уж солнце рдело низко —
Средь георгин я шел твоих,
И как живая одалиска
Стояла каждая из них.

Как много пылких или томных,
С наклоном бархатных ресниц,
Веселых, грустных и нескромных
Отвсюду улыбалось лиц!

Казалось, нет конца их грезам
На мягком лоне тишины, —
А нынче утренним морозом
Они стоят опалены.

Но прежним тайным обаяньем
От них повеяло опять,
И над безмолвным увяданьем
Мне как-то совестно роптать.

<1859>

* * *

Если ты любишь, как я, бесконечно,
Если живешь ты любовью и дышишь, —
Руку на грудь положи мне беспечно:
Сердца биенья под нею услышишь.

О, не считай их! в них, силой волшебной,
Каждый порыв переполнен тобою:
Так в роднике за струю целебной
Прядает влага горячей струю.

Пей, отдавайся минутам счастливым, —
Трепет блаженства всю душу обнимет;
Пей — и не спрашивай взором пытливым,
Скоро ли сердце иссякнет, остынет.

<1859>

* * *

Сны и тени,
Сновиденья,
В сумрак трепетно манящие,
Все ступени
Усыпленья
Легким роем преходящие,

Не мешайте
Мне спускаться
К переходу сокровенному,
Дайте, дайте
Мне умчаться
С вами к свету отдаленному.

Только минем
Сумрак свода, —
Тени станем мы прозрачные
И покинем
Там у входа
Покрывала наши мрачные.

1859

КОЛОКОЛЬЧИК

Ночь нема, как дух бесплотный,
Теплый воздух онемел;
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел.

Тот ли это, что мешает
Вдалеке лесному сну
И, качаясь, набегает
На ночную тишину?

Или этот, чуть заметный
В цветнике моем и днем,
Узкодонный, разноцветный,
На тычинке под окном?

1859

* * *

По ветви нижние леса
В зеленой потонули ржи.
Семьею новой в небеса
Ныряют резвые стрижи.

Сильней и слаще с каждым днем
Несется запах медовой
Вдоль нив, лоснящихся кругом
Светло-зеленою волной.

И негой истомленных птиц
Смолкают песни по кустам,
И всеобъемлющих зарниц
Мелькают лики по ночам.

1859

* * *

Как ярко полная луна
Посеребрила эту крышу!
Мы здесь под тенью полотна,
Твое дыхание я слышу.

У неостывшего гнезда
Ночная песнь гремит и тает.
О, погляди, как та звезда
Горит, горит и потухает.

Понятен блеск ее лучей
И полночь с песнию своею,
Но что горит в груди моей —
Тебе сказать я не умею.

Вся эта ночь у ног твоих
Воскреснет в звуках песнопенья,
Но тайну счастья в этот миг
Я унесу без выраженья.

1859 (?)

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Давно забытые, под легким слоем пыли,
Черты заветные, вы вновь передо мной,
И в час душевных мук мгновенно воскресили
Всё, что давно-давно утрачено душой.

Горя огнем стыда, опять встречаются взоры
Одну доверчивость, надежду и любовь,
И задушевных слов поблекшие узоры
От сердца моего к ланитам гонят кровь.

Я вами осужден, свидетели немые
Весны души моей и сумрачной зимы.
Вы те же светлые, святые, молодые,
Как в тот ужасный час, когда прощались мы.

А я доверился предательскому звуку —
Как будто вне любви есть в мире что-
нибуды! —

Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку,
Я осудил себя на вечную разлуку
И с холодом в груди пустился в дальний
путь.

Зачем же с прежнею улыбкой умиленья
Шептать мне о любви, глядеть в мои глаза?
Души не воскресит и голос всепрощенья,
Не смоет этих строк и жгучая слеза.

1859 (?)

ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО

Ни тучки нет на небосклоне,
Но крик петуший — бури весть,
И в дальном колокольном звоне
Как будто слезы неба есть.

Покрыты слегшими травáми,
Не зыблют колоса поля,
И, пресыщенная дождями,
Не верит солнышку земля.

Под кровлей влажной и раскрытой
Печально праздное житье.
Серпа с косо́й, давно отбитой,
В углу тускнеет лезвие.

Конец 50-х гг.

* * *

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлен, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

Конец 50-х гг.



Влачась в бездействии ленивом
Навстречу осени своей,
Нам с каждым молодым порывом,
Что день, встречаться веселей.

Так в летний зной, когда в долины
Съезжают бережно снопы
И в зрелых жатвах круговины
Глубоко врезали серпы,

Прорвешь случайно повилику
Нетерпеливою ногой —
И вдруг откроешь землянику,
Красней и слаще, чем весной.

Конец 50-х гг.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Мороз и ночь над далью снежной,
А здесь уютно и тепло,
И предо мной твой облик нежный
И детски чистое чело.

Полны смущенья и отваги,
С тобою, кроткий серафим,
Мы через дебри и овраги
На змее огненном летим.

Он сыплет искры золотые
На озаренные снега,
И снятся нам места иные,
Иные снятся берега.

В мерцаньи одинокой свечки,
Ночным путем утомлена,
Твоя старушка против печки
В глубокий сон погружена.

Но ты красою ненаглядной
Еще томиться мне позволь;
С какой заботою отрадной
Лелеет сердце эту боль!

И, серебром облиты лунным,
Деревья мимо нас летят,
Под нами с грохотом чугунным
Мосты мгновенные гремят.

И, как цветы волшебной сказки,
Полны сердечного огня,
Твои агатовые глазки
С улыбкой радости и ласки
Порою смотрят на меня.

Конец 1859 или начало 1860

МОТЫЛЕК МАЛЬЧИКУ

Цветы кивают мне, головки наклона,
И манит куст душистой веткой;
Зачем же ты один преследуешь меня
Своею шелковою сеткой?

Дитя кудрявое, любимый нежно сын
Неувядающего мая,
Позволь мне жизнь упиться день один,
На солнце радостном играя.

Постой, оно уйдет, и блеск его лучей
Замрет на западе далеком,
И в час таинственный я упаду в ручей,
И унесет меня потоком.

<1860>

* * *

Я ждал. Невестую-царицей
Опять на землю ты сошла.
И утро блещет багрянницей,
И всё ты воздаешь старицей,
Что осень скудная взяла.

Ты пронеслась, ты победила,
О тайнах шепчет божество,
Цветет недавняя могила,
И бессознательная сила
Свое ликует торжество.

1860 (?)

* * *

Чем безнадежнее и строже
Года разъединяют нас,
Тем сердцу моему дороже,
Дитя, с тобой крылатый час.

Я лет не чувствую суровых,
Когда в глаза ко мне порой
Из-под ресниц твоих шелковых
Заглянет ангел голубой.

Не в силах ревности мятежность
Я победить и скрыть печаль, —
Мне эту девственную нежность
В глазах толпы оставить жаль!

Я знаю, жизнь не даст ответа
Твоим несбыточным мечтам,
И лишь одна душа поэта —
Их вечно празднующий храм.

1861 (?)

* * *

Ты прав: мы старимся. Зима недалеко,
 Нам кто-то праздновать мешает,
И кудри темные незримая рука
 И серебрит и обрывает.

В пути приутомясь, покорней мы других
 В лицо нам веющим невздам;
И не под силу нам безумцев молодых
 Задорным править хороводом.

Так что ж! ужели нам, покуда мы живем,
 Вздыхать, оборотясь к закату,
Как некогда, томясь любви живым огнем,
 Любви певали мы утрату?

Нет, мы не отжили! Мы властны день любой
 Чертою белою отметить,
И музы сирые еще на зов ночной
 Нам поторопятся ответить.

К чему пытаться судьбу? Быть может, коротка
 В руках у парки нитка наша!
Еще разымчива, душиста и сладка
 Нам Гебы пенистая чаша.

Зажжет, как прежде, нам во глубине сердец
Ее огонь благие чувства, —
Так пей же из нее, любимый наш певец:
В ней есть искусство для искусства.

1860 (?)

* * *

Свеча нагорела. Портреты в тени.
Сидишь прилежно и скромно ты.
Старушке зевнулось. По окнам огни
Прошли в те дальние комнаты.

Никак комара не прогонишь ты прочь, —
Поет и к свету всё просится.
Взглянуть ты не смеешь на лунную ночь,
Куда душа переносится.

Подкрался, быть может, и смотрит в окно?
Увидит мать — догадается;
Нет, верно, у старого клена давно
Стоит в тени, дожидается.

<1862>

* * *

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.

На небе ни клочка лазури,
В степи всё гладко, всё бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.

И на душе не рассветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом.

А всё надежда в сердце тлеет,
Что, может быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодеет,
Опять родной увидит край,

Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста, —
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.

Начало 1862

*

* * *

Как ясность безоблачной ночи,
Как юно-нетленные звезды,
Твои загораются очи
Всесильным, таинственным счастьем.

И всё, что лучом их случайным
Далеко иль близко объято,
Блаженством овеяно тайным —
И люди, и звери, и скалы.

Лишь мне, молодая царица,
Ни счастья нет, ни покоя,
И в сердце, как пленная птица,
Томится бескрылая песня.

1862

* * *

Чем тоске, и не знаю, помочь;
Грудь прохлады свежительной ищет,
Окна настезь, уснуть мне невмочь,
А в саду над ручьем во всю ночь
Соловей разливается-свищет.

Стройный тополь стоит под окном,
Листья в воздухе все онемели.
Точно думы всё те же и в нем,
Точно судит меня он с певцом, —
Не проронит ни вздоха, ни трели.

На заре только клонит ко сну,
Но лишь яркий багрянец замечу —
Разгорюсь — и опять не усну.
Знать, в последний встречаю весну
И тебя на земле уж не встречу.

1862

* * *

Прежние звуки, с былым обаяньем
Счастья и юной любви!
Всё, что сказалося в жизни страданьем,
Пламенем жгучим пахнуло в крови!

Старые песни, знакомые звуки,
Сон безотвязно больной!
Точно из сумрака бледные руки
Призраков нежных манят за собой.

Пусть обливается жгучею кровью
Сердце, а очи слезой! —
Доброю няней прильнув к изголовью,
Старая песня, звучи надо мной!

Пой! Не смущайся! Пусть время былое
Яркой зарей расцветет!
Может быть, сердце утихнет больное
И, как дитя в колыбели, уснет.

Конец 1862

* * *

Тихонько движется мой конь
По вешним заводям лугов,
И в этих заводях огонь
Весенних светит облаков.

И освежительный туман
Встает с оттаявших полей.
Заря, и счастье, и обман —
Как сладки вы душе моей!

Как нежно содрогнулась грудь
Над этой тенью золотой!
Как к этим призракам прильнуть
Хочу мгновенною душой!

1862 (?)

* * *

Не избегай; я не молю
Ни слез, ни сердца тайной боли,
Своей тоске хочу я воли
И повторять тебе: «люблю».

Хочу нестись к тебе, лететь,
Как волны по равнине водной,
Поцеловать гранит холодный,
Поцеловать — и умереть!

1862 (?)

* * *

С какой я негою желанья
Одной звезды искал в ночи!
Как я любил ее мерцанье,
Ее алмазные лучи!

Хоть на заре, хотя мгновенно
Средь набежавших туч видна,
Она так явно, так нетленно
На небе теплилась одна.

Любовь, участие, забота
Моим очам дрожали в ней
В степи, с речного поворота,
С ночного зеркала морей.

Но столько думы молчаливой
Не шлет мне луч ее нигде,
Как у корней плакучей ивы,
В твоём саду, в твоём пруде.

<1863>

* * *

Солнце ниже лучами в отвес,
И дрожат испарений струи
У окраины ярких небес;
Распахни мне объятия твои,
Густолистый, развесистый лес!

Чтоб в лицо и в горячую грудь
Хлынул вздох твой студеной волной,
Чтоб и мне было сладко вздохнуть;
Дай устами и взором прильнуть
У корней мне к воде ключевой!

Чтоб и я в этом море исчез,
Потонул в той душистой тени,
Что раскинул твой пышный навес;
Распахни мне объятия твои,
Густолистый, развесистый лес!

1863

* * *

Не первый год у этих мест
Я в час вечерний проезжаю,
И каждый раз гляжу окрест,
И над березами встречаю
Всё тот же золоченый крест.

Среди зеленой густоты
Карнизов обветшалых пятна,
Внизу могилы и кресты,
И мне — мне кажется понятно,
Что шепчут куполу листы.

Еще колеблясь и дыша
Над дорогами мертвецами,
Стремлюсь куда-то, вдаль спеша,
Но встречу с тихими гробами
Смиренно празднует душа.

<1864>

* * *

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнули косы блеском чистым,
И поздний пар от их котлов
Упитан ужином душистым.

Лиловым дымом даль поя,
В сияньи тонет дня светило,
И набежавших туч края
Стеклом горючим окаймило.

Уже подрезан, каждый ряд
Цветов лежит пахучей цепью.
Какая тень и аромат
Плывут над меркнущею степью!

В душе смиренной уясни
Дыханье ночи непорочной
И до огней зари восточной
Под звездным пологом усни!

<1864>

* * *

Жизнь пронеслась без явного следа.
Душа рвалась — кто скажет мне куда?
С какой заране избранною целью?
Но все мечты, всё буйство первых дней
С их радостью — всё тише, всё ясней
К последнему подходят новоселью.

Так, заверша беспутный свой побег,
С нагих полей летит колючий снег,
Гонимый ранней, буйною метелью,
И, на лесной остановясь глуши,
Сбирается в серебряной тиши
Глубокой и холодной постелью.

1864

* * *

Я повторял: «Когда я буду
 Богат, богат!
К твоим серьгам по изумруду —
 Какой наряд!»

Тобой любуясь ежедневно,
 Я ждал, — но ты —
Всю зиму ты встречала гневно
 Мои мечты.

И только этот вечер майский
 Я так живу,
Как будто сон овеял райский
 Нас наяву.

В моей руке — какое чудо! —
 Твоя рука,
И на траве два изумруда —
 Два светляка.

1864

ТУРГЕНЕВУ

Из мачт и паруса — как честно он служил
Искусному пловцу под вёдром и грозой! —
Ты хижину себе воздушную сложил
Под очарованной скалою.

Тебя пригрел чужой денницы яркий луч,
И в откликах твоих мы слышим примиренье;
Где телом страждущий пьёт животворный ключ,
Душе сыскал ты возрожденье.

Поэт! и я обрел, чего давно алкал,
Скрываясь от толпы бесчинной:
Среди родных полей и тень я отыскал
И уголок земли пустынной.

Привольно, широко, куда ни кинешь взор.
Здесь насажу я сад, здесь, здесь поставлю хату!
И, плéктрон отложу, я взялся за топор
И за блестящую лопату.

Свершилось! Дом укрыл меня от непогод,
Луна и солнце в окна блещет,
И, зелёную шумя, деревьев хоровод
Ликует жизнью и трепещет.

Ни резкий крик глупцов, ни подлый их разгул
Сюда не досягнут. Я слышу лишь из саду
Лихого табуна сближающийся гул
Да крик козы, бегущей к стаду.

Здесь песни нежных муз душе моей слышней,
Их жадно слушает пустыня,
И верь! — хоть изредка из сумрака аллея
Ко мне придет моя богиня.

Вот здесь, не ведая ни бурь, ни грозных туч,
Душой, привычною к утратам,
Желал бы умереть, как утром лунный луч,
Или как солнечный — с закатом.

1864

* * *

Die Gleichmäßigkeit des Laufes
der Zeit in allen Köpfen beweist
mehr, als irgend etwas, daß wir
Alle in denselben Traum versenkt
sind, ja daß es Ein Wesen ist,
welches ihn träumt.

*Schopenhauer*¹

I

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

Еще темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.

¹ Равномерность течения времени во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все видящие этот сон являются единым существом. *Шопенгауэр* (нем.). — *Ред.*

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

И всё, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный, —
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.

И этих грез в мировом дуновеньи
Как дым несусь я и таю неволью,
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.

2

В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милый,
И в звездном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

Трава поблекла, пустыня угрюма,
И сон сиротлив одинокой гробницы,
И только в небе, как вечная дума,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И снится мне, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела,
И снится, снится: мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

1864 (?)

* * *

Еще вчера, на солнце млея,
Последним лес дрожал листом,
И озимь, пышно зеленея,
Лежала бархатным ковром.

Глядя надменно, как бывало,
На жертвы холода и сна,
Себе ни в чем не изменяла
Непобедимая сосна.

Сегодня вдруг исчезло лето;
Бело, безжизненно кругом,
Земля и небо — всё одето
Каким-то тусклым серебром.

Поля без стад, леса унылы,
Ни скудных листьев, ни травы.
Не узнаю растущей силы
В алмазных призраках листвы.

Как будто в сизом клубе дыма
Из царства злаков волей фей
Перенеслись непостижимо
Мы в царство горных хрусталей.

1864 (?)

РОЗА

У пурпурной колыбели
Трели мая прозвенели,
Что весна опять пришла.
Гнется в зелени береза,
И тебе, царица роза,
Брачный гимн поет пчела.

Вижу, вижу! счастья сила
Яркий свиток твой раскрыла
И увлажила росой.
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной.

Если б движущий громами
Повелел между цветами
Цвезть нежнейшей из богинь,
Чтоб безмолвною красою
Звать к любви, когда весною
Темен лес и воздух синь, —

Ни Киприда и ни Геба,
Спрятав в сердце тайны неба

И с безмолвьем на челе,
В час блаженный расцветанья
Больше страстного признанья
Не поведали б земле.

1864 (?)

* * *

Кому венец: богине ль красоты
Иль в зеркале ее изображенью?
Поэт смущен, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.

Не я, мой друг, а божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит,
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.

<1865>

КУПАЛЬЩИЦА

Игривый плеск в реке меня остановил.
Сквозь ветви темные узнал я над водою
Ее веселый лик — он двигался, он плыл, —
Я голову признал с тяжелою косою.

Узнал я и наряд, взглянув на белый хрящ,
И превратился весь в смущенье и тревогу,
Когда красавица, прорвав кристальный плащ,
Вдавила в гладь песка младенческую ногу.

Она предстала мне на миг во всей красе,
Вся дрожью легкою объята и пугливой.
Так пышут холодом на утренней росе
Упругие листы у лилии стыдливой.

< 1865 >

* * *

Напрасно ты восходишь надо мной
Посланницей волшебных сновидений
И, юностью сияя заревой,
Ждешь от меня похвал и песнопений.

Как ярко ты и нежно ни гори
Над каменным угаснувшим Мемноном, —
На яркие приветствия зари
Он отвечать способен только стоном.

1865

УТРО В СТЕПИ

Заря восточный свой алтарь
Зажгла прозрачными огнями,
И песнь дрожит под небесами:
«Явися, дня лучистый царь!

Мы ждем! Таких немного встреч!
Окаймлена шумящей рожью,
Через всю степь тебе к подножью
Ковер душистый стелет гречь.

Смиренно преклонясь челом,
Горит алмазами пшеница,
Как новобрачная царица
Перед державным женихом».

1865

* * *

Встает мой день, как труженик убогой,
И светит мне без силы и огня,
И я бреду с заботой и тревогой.

Мы думой врозь, — тебе не до меня.
Но вот луна прокралася из сада,
И гасит ночь в руке дрожащей дня

Своим дыханьем яркую лампаду.
Таинственным окружена огнем,
Сама идешь ты мне принести отраду.

Забыто всё, что угнетало днем,
И, полные слезами умиленья,
Мы об руку, блаженные, идем,

И тени нет тяжелого сомненья.

1865 (?)

* * *

Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли — и дай мне превозмочь
Весь этот тлен бездушный и унылый!

Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнем с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля — и теплится, как море.

Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью
звёздной

И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.

1865 (?)

* * *

Блеском вечерним овеяны горы.
Сырость и мгла набегают в долину.
С тайной мольбою подьземлю я взоры:
«Скоро ли холод и сумрак покину?»

Вижу на том я уступе румяном
Сдвинуты кровель уютные гнезды;
Вон засветились под старым каштаном
Милые окна, как верные звезды.

Кто ж меня втайне пугает обманом:
«Сердцем как прежде ты чист ли и молод?
Что, если там, в этом мире румяном,
Снова охватит и сумрак и холод?»

<1866>

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Прошла весна — темнеет лес,
Скудней ручьи, грустнее ивы,
И солнце с высоты небес
Томит безветренные нивы.

На плуг знакомый налегли
Все, кем владеет труд упорный;
Опять сухую грудь земли
Взрезает конь и вол покорный.

Но в свежем тайнике куста
Один певец проснулся вешний,
И так же песнь его чиста
И дышит полночью нездешней.

Как сладко труженик смущен,
Весны заслыша зов единый!
Как улыбнулся он сквозь сон
Под яркий посвист соловьиный!

<1866>

ПСЕВДОПОЭТУ

Молчи, поникни головою,
Как бы представ на страшный суд,
Когда случайно пред тобою
Любимца муз упомянут!

На рынок! Там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца.

Там сбыт малеванному хламу,
На этой затхлой площади, —
Но к музам, к чистому их храму,
Продажный раб, не подходи!

Влача по прихоти народа
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого *свобода*
Ни разу сердцем не постиг.

Не возносился богомольно
Ты в ту свежующую мглу,
Где беззаветно лишь привольно
Свободной песне да орлу.

1866

* * *

Какой горючий пламень
Зарей в такую пору!
Кусты и острый камень
Сквозят по косогору.

Замолк и засыпает
Померкший пруд в овраге;
Лишь ласточка взрезает
Нить жемчуга на влаге.

Ушли за днем послушно
Последних туч волокна.
О, как под кровлей душно,
Хотя раскрыты окна!

О нет, такую пытку
Переносить не буду;
Я знаю, кто в калитку
Теперь подходит к пруду.

26 января 1867

* * *

В душе, измученной годами,
Есть неприступный чистый храм,
Где всё нетленно, что судьбами
В отраду посылалось нам.

Для мира путь к нему заглохнет, —
Но в этот девственный тайник,
Хотя б и мог, скорей иссохнет,
Чем путь укажет мой язык.

Скажи же — как, при первой встрече,
Успокоительно светла,
Вчера — о, как оно далече! —
Живая ты в него вошла?

И вот отныне поневоле
В блаженной памяти моей
Одной улыбкой нежной боле,
Одной звездой любви светлей.

1867



Истрепались сосен мохнатые ветви от бури,
Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами,
Ни огня на земле, ни звезды в овдовевшей
лазури,
Всё сорвать хочет ветер, всё смыть хочет ливень
ручьями.

Никого! Ничего! Даже сна нет в постели
холодной,
Только маятник грубо-насмешливо меряет время.
Оторвись же от тусклой свечи ты душою
свободной!
Или тянет к земле роковое, тяжелое бремя?

О, войди ж в этот мрак, улыбнись, благосклонная
фея,
И всю жизнь в этот миг я солью, этим мигом
измерю,
И, речей благовонных созвучием слух возлелея,
Не признаю часов и рыданьям ночным не поверю!

Конец 60-х гг. (?)

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Помнишь тот горячий ключ,
Как он чист был и бегуч,
Как дрожал в нем солнца луч
И качался,
Как пестрел соседний бор,
Как белели выси гор,
Как тепло в нем звездный хор
Повторялся.

Обмелел он и остыл,
Словно в землю уходил,
Оставляя следом ил
Бледно-красный.
Долго-долго я алкал,
Жилу жаркую меж скал
С тайной ревностью искал,
Но напрасной.

Вдруг в горах промчался гром,
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий, —

Оглянулся — чудный вид:
Старый ключ прошиб гранит
И над бездною висит,
Весь кипящий!

<1870>

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Отсталых туч над нами пролетает
 Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
 У лунного серпа.

Царит весны таинственная сила
 С звездами на челе. —
Ты, нежная! ты счастье мне сулила
 На суетной земле.

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
 А вон оно — как дым.
За ним! за ним! воздушною дорогой —
 И в вечность улетим!

1870

КЛЮЧ

Меж селеньем и рошей нагорной
Вьется светлою лентой река,
А на храме над озимью черной
Яркий крест поднялся в облака.

И толпой голосистой и жадной
Всё к заре набежит со степей,
Точно весть над волною прохладной
Пронеслась: освежись и испей!

Но в шумящей толпе ни единый
Не присмотрится к кушам дерёв,
И не слышен им зов соловьиный
В реве стад и плесканьи вальков.

Лишь один в час вечерний, заветный,
Я к журчащему сладко ключу
По тропинке лесной, незаметной,
Путь обычный во мраке сыщу.

Дорожа соловьиным покоем,
Я ночного певца не спугну
И устами, спаленными зноем,
К освежительной влаге прильну.

1870

* * *

Когда б в полете скоротечном
Того, что призывает жить,
Я мог, по выбору сердечном,
Любые дни остановить, —

Порой, когда томит щедротой
Нас сила непонятно чья,
На миг пленился б я заботой
Детей, прудящих бег ручья,

И, поджидая и ревнуя,
В пору любви, в тиши ночной,
Я б под печатью поцелуя
Забыл заре воскликнуть: «Стой!»

Перед зеленым колыханьем
Безбрежных зреющих полей
Я б истомился ожиданьем
Тяжелых, неподсильных дней.

Я б ждал, покуда днем бесшумным
Замрет тоскливый труд и страх,
Когда вся рожь по тесным гумнам
Столпится в золотых скирдах.

1870 (?)

* * *

Томительно-призывно и напрасно
Твой чистый луч передо мной горел;
Немой восторг будил он самовластно,
Но сумрака кругом не одолел.

Пускай клянут, волнуясь и споря,
Пусть говорят: то бред души больной;
Но я иду по шаткой пене моря
Отважною, нетонушей ногой.

Я пронесу твой свет чрез жизнь земную;
Он мой — и с ним двойное бытие
Вручила ты, и я — я торжествую
Хотя на миг бессмертие твое.

<1871>

* * *

Всю ночь гремел овраг соседний,
Ручей, бурля, бежал к ручью,
Воскресших вод напор последний
Победу разглашал свою.

Ты спал. Окно я растворила,
В степи кричали журавли,
И сила думы уносила
За рубежи родной земли,

Лететь к безбрежью, бездорожью,
Через леса, через поля, —
А подо мной весенней дрожью
Ходила гулкая земля.

Как верить перелетной тени?
К чему мгновенный сей недуг,
Когда ты здесь, мой добрый гений,
Бедами искушенный друг?

1872

* * *

В дымке-невидимке
Выплыл месяц вешний,
Цвет садовый дышит
Яблонью, черешней.
Так и льнет, целуя
Тайно и нескромно.
И тебе не грустно?
И тебе не томно?

Истерзался песней
Соловей без розы.
Плачет старый камень,
В пруд роняя слезы.
Уронила косы
Голова невольно.
И тебе не томно?
И тебе не больно?

Апрель 1873

* * *

Только встречу улыбку твою
Или взгляд уловлю твой отрадный, —
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленную трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой ее колыбелью.

Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.

1873 (?)

* * *

Целый мир от красоты
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать ее начало.

Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, — человечесно.

Между 1874 и 1886

* * *

О, не вверяйся ты шумному
Блеску толпы неразумному, —
Ты его миру безумному
Брось — и о нем не тужи.
Льни ты хотя б к преходящему,
Трепетной негой манящему, —
Лишь одному настоящему,
Им лишь одним дорожи.

Между 1874 и 1886

* * *

Что ты, голубчик, задумчив сидишь,
Слышишь — не слышишь, глядишь —
не глядишь?

Утро давно, а в глазах у тебя,
Я посмотрю, и не день и не ночь.

— Точно случилось жемчужную нить
Подле меня тебе врозь уронить.
Чудную песню я слышал во сне,
Несколько слов до явú мне прожгло.

Эти слова-то ищу я опять
Все, как звучали они, подобрать.
Верно, ах, верно, сказала б ты мне,
В чем этот голос меня укорял.

Начало 1875

ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Как ястребу, который просидел
На жердочке суконной зиму в клетке,
Питаяся настрелянную птицей,
Весной охотник голубя несет
С надломленным крылом — и, оглядев
Живую пищу, старый ловчий щурит
Зрачок прилежный, поджигает перья
И вдруг неожиданно, быстро, как стрела,
Вонзается в трепещущую жертву,
Кривым и острым клювом ей взрезает
Мгновенно грудь и, весело раскинув
На воздух перья, с алчностью забытой
Рвет и глотает трепетное мясо, —
Так бросил мне кавказские ты песни,
В которых бьется и кипит та кровь,
Что мы зовем поэзией. — Спасибо.
Полакомил ты старого ловца!

Конец октября или начало ноября 1875

ЕМУ ЖЕ

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ РОМАНА «ВОЙНА И МИР».

Была пора — своей игрою,
Своею ризою стальною
Морской простор меня пленял;
Я дорожил и в тишь и в бури
То негой тающей лазури,
То пеной у прибрежных скал.

Но вот, о море, властью тайной
Не всё мне мил твой блеск случайный
И в душу просится мою;
Дивясь красе жестоковойной,
Я перед мощию стихийной
В священном трепете стою.

23 апреля 1877

* * *

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем
дрожили,
Как и сердца у нас за песню твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лег прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу
вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна —
любовь.

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

2 августа 1877

ALTER EGO ¹

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей,
И была ли при этом победа, и чья —
У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья?

Ты душою младенческой всё поняла,
Что мне высказать тайная сила дала,
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,
Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить.

Та трава, что вдали на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей,
И я знаю, взглянувши на звезды порой,
Что взирали на них мы как боги с тобой.

У любви есть слова, те слова не умрут,
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить!

Январь 1878

¹ Второе я (лат.). — *Ред.*

* * *

Ты отстрадала, я еще страдаю,
Сомнением мне суждено дышать,
И трепещу, и сердцем избегаю
Искать того, чего нельзя понять.

А был рассвет! Я помню, вспоминаю
Язык любви, цветов, ночных лучей. —
Как не цвести всевидящему маю
При отблеске родном таких очей!

Очей тех нет — и мне не страшны гробы,
Завидно мне безмолвие твое,
И, не судя ни тупости, ни злобы,
Скорей, скорей в твое небытие!

4 ноября 1878

СМЕРТЬ

«Я жить хочу! — кричит он, дерзновенный, —
Пускай обман! О, дайте мне обман!»
И в мыслях нет, что это лед мгновенный,
А там, под ним, — бездонный океан.

Бежать? Куда? Где правда, где ошибка?
Опора где, чтоб руки к ней простерть?
Что ни расцвет живой, что ни улыбка, —
Уже под ними торжествует смерть.

Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь — базар крикливый бога,
То только смерть — его бессмертный храм.

1878

А. Л. БРЖЕСКОЙ

Далекий друг, пойми мои рыдания,
Ты мне прости болезненный мой крик.
С тобой цветут в душе воспоминанья,
И дорожить тобой я не отвык.

Кто скажет нам, что жить мы не умели,
Бездушные и праздные умы,
Что в нас добро и нежность не горели
И красоте не жертвовали мы?

Где ж это всё? Еще душа пылает,
По-прежнему готова мир объять.
Напрасный жар! Никто не отвечает,
Воскреснут звуки — и замрут опять.

Лишь ты одна! Высокое волненье
Издаюла мне голос твой принес.
В ланитах кровь, и в сердце вдохновенье. —
Прочь этот сон, — в нем слишком много слез!

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

28 января 1879

* * *

Глубь небес опять ясна,
Пахнет в воздухе весна,
Каждый час и каждый миг
Приближается жених.

Спит во гробе ледяном
Очарованная сном, —
Спит, нема и холодна,
Вся во власти чар она.

Но крылами вешних птиц
Он свекает снег с ресниц,
И из стужи мертвых грез
Проступают капли слез.

22 марта 1879

* * *

Я рад, когда с земного лона,
Весенней жажде соприсуш,
К ограде каменной балкона
С утра кудрявый лезет плющ.

И рядом, куст родной смущая,
И силясь и боясь летать,
Семья пичужек молодая
Зовет заботливую мать.

Не шевелюсь, не беспокою.
Уж не завидую ль тебе?
Вот, вот она здесь, под рукою,
Пищит на каменном столбе.

Я рад: она не отличает
Меня от камня на свету,
Трепещет крыльями, порхает
И ловит мошек на лету.

12 декабря 1879

А. Л. БРЖЕСКОЙ

Опять весна! опять дрожат листы
С концов берез и на макушке ивы.
Опять весна! опять твои черты,
Опять мои воспоминанья живы.

Весна! весна! о, как она крепит,
Как жизненной нас учит верить силе!
Пускай наш добрый, лучший друг наш спит
В своей цветами убранный могиле, —

Он говорит: «Приободришь и ты:
Нельзя больной лелеять два недуга».
Когда к нему ты понесешь цветы,
Снеси ему сочувствие от друга.

Минувшего нельзя нам воротить,
Грядущему нельзя не доверяться,
Хоть смерть в виду, а всё же нужно жить;
А слово: жить — ведь значит: покоряться.

1879

* * *

Не тем, господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознанием,
Что в звездный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданием

И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.

Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.

Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище ее непостоянства,
Во мне он вечен, вездесущ, как ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

1879

НИЧТОЖЕСТВО

Тебя не знаю я. Болезненные крики
На рубеже твоём рождала грудь моя,
И были для меня мучительны и дики
Условия первые земного бытия.

Сквозь слез младенческих обманчивой улыбкой
Надежда озарить сумела мне чело,
И вот всю жизнь с тех пор ошибка за ошибкой,
Я всё ищу добра — и нахожу лишь зло.

И дни сменяются утратой и заботой
(Не всё ль равно: один иль много этих дней!),
Хочу тебя забыть над тяжкою работой,
Но миг — и ты в глазах с бездонностью своей.

Что ж ты? Зачем? — Молчат и чувства
и познатье.
Чей глаз хоть заглянул на роковое дно?
Ты — это ведь я сам. Ты голько отрицанье
Всего, что чувствовать, что мне узнать дано.

Что ж я узнал? Пора узнать, что в мирозданьи,
Куда ни обратиться, — вопрос, а не ответ;
А я дышу, живу и понял, что в незнаньи
Одно прискорбное, но страшного в нём нет.

А между тем, когда б в смятении великом
Срываясь, силой я хоть детской обладал,
Я встретил бы твой край тем самым резким
криком,
С каким я некогда твой берег покидал.

1880

* * *

Дул север. Плакала трава
И ветви о недавнем зное,
И роз, проснувшихся едва,
Сжималось сердце молодое.

Стоял угрюм тенистый сад,
Забыв о пеньи голосистом;
Лишь соловьихи робких чад
Хриплым подзывали свистом.

Прошла пора влюбленных грез,
Зачем еще томиться тщетно?
Но вдруг один любовник роз
Запел так ярко, беззаветно.

Прощай, соловушко! — И я
Готов на миг воскреснуть тоже,
И песнь последняя твоя
Всех вешних песен мне дороже.

1880 (?)

* * *

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
 Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
 Этот говор вод,

Эти ивы и березы,
Эти капли — эти слезы,
 Этот пух — не лист,
Эти горы, эти доли,
Эти мошки, эти пчелы,
 Этот зык и свист,

Эти зори без затмения,
Этот вздох ночной селенья,
 Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
 Это всё — весна.

1881 (?)

* * *

Так, он безумствует; то бред воображенья.
Я вижу: верный пес у ног твоих лежит, —
Смущают сон его воздушные виденья,
И быстрой птице вслед он лает и визжит;

Но, гордая, пойми: их бездна разделяет, —
Твой беспристрастный ум на помощь я зову:
Один томительно настичь свой сон желает,
Другой блаженствует и бредит наяву.

Начало 80-х гг. (?)

ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ

С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный?
Мы два конька, скользящих по реке,
Мы два гребца на утлом челноке,
Мы два зерна в одной скорлупке тесной,
Мы две пчелы на жизненном цветке,
Мы две звезды на высоте небесной.

<1882>

* * *

Еще, еще! Ах, сердце слышит
Давно призыв ее родной,
И всё, что движется и дышит,
Задышит новою весной.

Уж травка светит с кочек талых,
Плаксивый чибис прокричал,
Цепь снеговую туч отсталых
Сегодня первый гром порвал.

< 1882 >

* * *

Одна звезда меж всеми дышит
И так дрожит,
Она лучом алмазным пышет
И говорит:

Не суждено с тобой нам дружно
Носить оков,
Не ищем мы и нам не нужно
Ни клятв, ни слов.

Не нам восторги и печали,
Любовь моя!
Но мы во взорах разгадали,
Кто ты, кто я.

Чем мы горим, светить готово
Во тьме ночей;
И счастья ищем мы земного
Не у людей.

<1882>

ШОПЕНУ

Ты мелькнула, ты предстала,
Снова сердце задрожало,
Под чарующие звуки
То же счастье, те же муки,
Слышу трепетные руки —
Ты еще со мной!

Час блаженный, час печальный,
Час последний, час прощальный,
Те же легкие одежды,
Ты стоишь, склоняя вежды, —
И не нужно мне надежды:
Этот час — он мой!

Ты руки моей коснулась,
Разом сердце вострепелось;
Не туда, в то горе злое,
Я несусь в мое былое, —
Я на всё, на всё иное
Отпылал, потух!

Этой песне чудотворной
Так покорен мир упорный;

Пусть же сердце, полно муки,
Торжествует час разлуки,
И когда загаснут звуки —
Разорвется вдруг!

<1882>

* * *

Отчего со всеми я любезна,
Только с ним нас разделяет бездна?
Отчего с ним, хоть его бегу я,
Не встречаться всюду не могу я?
Отчего, когда его увижу,
Словно весь я свет возненавижу?
Отчего, как с ним должна остаться,
Так и рвусь над ним же издеваться?
Отчего — кто разрешит задачу? —
До зари потом всю ночь проплачу?

< 1882 >

МУЗЕ

Пришла и села. Счастлив и тревожен,
Ласкательный твой повторяю стих;
И если дар мой пред тобой ничтожен,
То ревностью не ниже я других.

Заботливо храня твою свободу,
Непосвященных я к тебе не звал,
И рабскому их буйству я в угоду
Твоих речей не осквернял.

Всё та же ты, заветная святыня,
На облаке, незримая земле,
В венце из звезд, нетленная богиня,
С задумчивой улыбкой на челе.

<1882>

ROMANZERO

I

Знаю, зачем ты, ребенок больной,
Так неотступно всё смотришь за мной,
Знаю, с чего на большие глаза
Из-под ресниц наплывает слеза.

Там у вас душно, там жаркая грудь
Разу не может прохладой дохнуть,
Да, нагоняя на слабого страх,
Плавает коршун на темных кругах.

Только вот здесь, средь заветных цветов,
Тень распростерла таинственный кров,
Только в сердечке поникнувших роз
Капли застыли младенческих слез.

22 июля 1882

Встречу ль яркую в небе зарю,
Ей про тайну мою говорю,
Подойду ли к лесному ключу,
И ему я про тайну шепчу,

А как звезды в ночи задрожат,
Я всю ночь им рассказывать рад;
Лишь когда на тебя я гляжу,
Ни за что ничего не скажу.

13 июля 1882

✂

В страданьи блаженства стою пред тобою,
И смотрит мне в очи душа молодая.
Стою я, овеянный жизнью иною,
Я с речью нездешней, я с вестью из рая.

Слетел этот миг, не земной, не случайный,
Над ним так бессильны житейские грозы,
Но вечной уснет он сердечною тайной,
Как вижу тебя я сквозь яркие слезы.

И в трепете сердце, и трепетны руки,
В восторге склоняюсь пред чуждою властью,
И мукой блаженства исполнены звуки,
В которых сказаться так хочется счастьем.

2 августа 1882

4

Вчерашний вечер помню живо:
Синели глубиью небеса,
Лист трепетал, красноречиво
Глядели звезды нам в глаза.

Светились зори издалека,
Фонтан сверкал так горячо,
И Млечный Путь бежал широко
И звал: смотри! еще! еще!

Сегодня всё вокруг заснуло,
Как дымкой твердь заволокло,
И в полумраке затонуло
Воды игривое стекло.

Но не томлюсь среди тумана,
Меня не давит мрак лесной, —
Я слышу плеск живой фонтана
И чую звезды над собой.

5 августа 1882

* * *

Заиграли на рояле,
И под звон чужих напевов
Завертелись, заплясали
Изумительные куклы.

Блеск нарядов их чудесен —
Шелк и звезды золотые.
Что за чуткость к ритму песен:
Там играют — здесь трепещут.

Вид приличен и неробок,
А наряды — загляденье;
Только жаль, у милых пробок
Так тела прямолинейны!

Но красой сияют вящей
Их роскошные одежды. . .
Что б такой убор блестящий
Настоящему поэту!

1882

ТЕПЕРЬ

Мой прах уснет забытый и холодный,
А для тебя настанет жизни май;
О, хоть на миг душою благородной
Тогда стихам, звучавшим мне, внимай!

И вдумчивым и чутким сердцем девы
Безумных снов волненья ты поймешь
И от чего в дрожащие напевы
Я уходил — и ты за мной уйдешь.

Приветами, встающими из гроба,
Сердечных тайн бессмертье ты проверь.
Вневременной поведем жизнью оба,
И ты и я — мы встретимся — теперь!

<1883>

* * *

Ныне первый мы слышали гром,
Вот повеяло сразу теплом,
И пришло мне на память сейчас,
Как вчера ты измучила нас.
Целый день, холодна и бледна,
Ты сидела безмолвно одна;
Вдруг ты встала, ко мне подошла
И сказала, что всё поняла:
Что напрасно жалеть о былом,
Что нам тесно и тяжело вдвоем,
Что любви затерялась стезя,
Что так жить, что дышать так нельзя,
Что ты хочешь — решилась — и вдруг
Разразился весенний недуг,
И, забывши о грозных словах,
Ты растаяла в жарких слезах.

<1883>

* * *

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.

3 апреля 1883

ОСЕНЬ

Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени и хладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!

Но есть и дни, когда в крови
Золотолиственных уборов
Горящих осень ищет взоров
И знойных прихотей любви.

Молчит стыдливая печаль,
Лишь вызывающее слышно,
И, замирающей так пышно,
Ей ничего уже не жаль.

8 октября 1883

* * *

Учись у них — у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.

Всё злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!

Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

31 декабря 1883

НА КНИЖКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮТЧЕВА

Вот наш патент на благородство, —
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Но муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Декабрь 1883

* * *

Молятся звезды, мерцают и рдеют,
Молится месяц, плывя по лазури,
Легкие тучки, свиваясь, не смеют
С темной земли к ним притягивать бури.

Видны им наши томленья и горе,
Видны страстей неподсильные битвы,
Слезы в алмазном трепещут их взоре —
Всё же безмолвно горят их молитвы.

1883

ПОЛОНСКОМУ

Спасибо! Лирой вдохновенной
Ты мне опять напомнил дни,
Когда, не зная мысли пленной,
Ты вынес, отрок дерзновенный,
Свои алмазные огни.

А я, по-прежнему смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою коленапреклоненный
И, красотою умиленный,
Зажег вечерние огни.

1883

* * *

С гнезд замахали крикливые цапли,
С листьев скатились последние капли,
Солнце, с прозрачных сияя небес,
В тихих струях опрокинуло лес.

С сердца куда-то слетела забота,
Вижу, опять улыбается кто-то;
Или весна выручает свое?
Или и солнышко всходит мое?

1883 (?)

* * *

Сад весь в цвету,
Вечер в огне,
Так освежительно-радостно мне!

Вот я стою,
Вот я иду,
Словно таинственной речи я жду.

Эта заря,
Эта весна
Так непостижна, зато так ясна!

Счастья ли полн,
Плачу ли я,
Ты — благодатная тайна моя.

<1884>

СМЕРТИ

Я в жизни обмирал и чувство это знаю,
Где мукам всем конец и сладок томный
хмель;

Вот почему я вас без страха ожидаю,
Ночь безрассветная и вечная постель!

Пусть головы моей рука твоя коснется
И ты сотрешь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покуда сердце бьется,
Мы силы равные, и торжествую я.

Еще ты каждый миг моей покорна воле,
Ты тень у ног моих, безличный призрак ты;
Покуда я дышу — ты мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

<1884>

* * *

О, этот сельский день и блеск его красивый
В безмолвии я чту.
Не допустить до нас мой ищет глаз ревнивый
Безумную мечту.

Лелеяла б душа в успокоеньи томном
Неведомую даль,
Но так нескромно всё в уединеньи скромном,
Что стыдно мне и жаль.

Пойдем ли по полю — мы чуждые тревоги,
И радуется ходьба,
Уж кланяются нам обним вдоль дороги
Чужие все хлеба.

Идем ли под вечер, избегнувши селений,
Где всё стоит в пыли,
По солнцу движемся — гляжу, а наши тени
За ров и в лес ушли.

Вот ночь со всем уже, что мучило недавно,
Перерывает связь,
А звезды, с высоты глядя на нас так явно,
Мигают, не стыдятся.

<1884>

ЛАСТОЧКИ

Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши всё кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом.

Вот понеслась и зачертила —
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла.

И снова то же дерзновенье
И та же темная струя, —
Не таково ли вдохновенье
И человеческого я?

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

<1884>

* * *

Еще одно забывчивое слово,
Еще один случайный полувздох —
И тосковать я сердцем стану снова,
И буду я опять у этих ног.

Душа дрожит, готова вспыхнуть чище,
Хотя давно угас весенний день
И при луне на жизненном кладбище
Страшна и ночь, и собственная тень.

<1884>

* * *

Кровию сердца пишу я к тебе эти строки,
Видно, разлуки обоим несносны уроки,
Видно, больному напрасно к свободе стремиться,
Видно, к давно прожитому нельзя воротиться,
Видно, во всем, что питало горячку недуга,
Легче и слаще вблизи упрекать нам друг друга.

<1884>

* * *

Я видел твой млечный, младенческий волос,
Я слышал твой сладко вздыхающий голос —
И первой зари я почувствовал пыл;
Налету весенних порывов подвластный,
Дохнул я струею и чистой и страстной
У пленного ангела с веющих крыл.

Я понял те слезы, я понял те муки,
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внешнешь, что радость не знает предела,
Где веришь, что счастью не будет конца.

<1884>

* * *

День проснется -- и речи людские
Закипят раздраженной волной,
И помчит, разливаясь, стихия
Всё, что вызвано алчной нуждой.

И мои зажурчат песнопенья, —
Но в зыбучих струях ты найдешь
Разве ласковой думы волненья,
Разве сердца напрасную дрожь.

<1884>

БАБОЧКА

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот — дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

<1884>

* * *

С бородою седою верховный я жрец,
На тебя возложу я душистый венец,
И нетленною солью горячих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей.
Эту детскую грудь рассеку я потом
Вдохновенного слова звенящим мечом,
И раскроет потомку минувшего мгла,
Что на свете всех чище ты сердцем была.

<1884>

ВОЛЬНЫЙ СОКОЛ

Не воскормлѣн ты пищей нежной,
Не унесен к зиме в тепло,
И каждый час рукой прилежной
Твое не холено крыло.

Там, над скалой, вблизи лазури,
На умирающем дубу,
Ты с первых дней изведаль бури
И с ураганами борьбу.

Дразнили молодую силу
И зной, и голод, и гроза,
И восходящему светилу
Глядел ты за море в глаза.

Зато, когда пора приспела,
С гнезда ты крылья распустил
И, взмахам их доверяясь смело,
Ширясь, по небу поплыл.

<1884>

* * *

Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилен и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили
Засохших, одному мне ведомых цветов.

О, как ничтожно всё! От жертвы жизни целой,
От этих пылких жертв и подвигов святых —
Лишь тайная тоска в душе осиротелой
Да тени бледные у лепестков сухих.

Но ими дорожит мое воспоминанье;
Без них всё прошлое — один жестокий бред,
Без них — один укор, без них — одно терзанье,
И нет прощенья, и примиренья нет!

29 мая 1884

ДОБРО И ЗЛО

Два мира властвуют от века,
Два равноправных бытия:
Один объемлет человека,
Другой — душа и мысль моя.

И как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаешь,
Так слитно в глубине заветной
Всё мирозданье ты найдешь.

Не лжива юная отвага:
Согнись над роковым трудом —
И мир свои раскроет блага;
Но быть не мысли божеством.

И даже в час отдохновенья,
Подъемля потное чело,
Не бойся горького сравненья
И различай добро и зло.

Но если на крылах гордыни
Познать дерзаешь ты как бог,
Не заноси же в мир святъни
Своих невольничьих тревог.

Пари всезрящий и всеильный,
И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет.

14 сентября 1884

* * *

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок,
Я мечтам золотым отдавался вполне, —
Ничего ты на всё не ответила мне.

Я давно угадал, что мы сердцем родня,
Что ты счастье свое отдала за меня,
Я рвался, я твердил о не нашей вине, —
Ничего ты на всё не ответила мне.

Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
Что минувшие дни мы должны позабыть,
Что в грядущем цветут все права красоты, —
Мне и тут ничего не ответила ты.

С опочившей я глаз был не в силах отвести, —
Всю погасшую тайну хотел я прочесть.
И лица твоего мне простили ль черты? —
Ничего, ничего не ответила ты!

< 1885 >

* * *

Есть ночи зимней блеск и сила,
Есть непорочная краса,
Когда под снегом опочила
Вся степь, и кровли, и леса.

Сбежали тени ночи летней,
Тревожный ропот их исчез,
Но тем всевластней, тем заметней
Огни безоблачных небес.

Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящен
Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный сон.

<1885>

В. С. СОЛОВЬЕВУ

Ты изумляешься, что я еще пою,
Как будто прежняя во храм вступает жрица,
И, чем-то молодым овеяв песнь мою,
То ласточка мелькнет, то длинная ресница.

Не всё же был я стар, и жизненных трудов
Не вечно на плеча ложилася обуза:
В беспечные года, в виду ночных пиров,
Огни потешные изготовляла муза.

Как сожигать тогда отрадно было их
В кругу приятелей, в глазах воздушной феи!
Их было множество, и ярких и цветных, —
Но рабский труд прервал веселые затеи.

И вот, когда теперь, поникнув головой
И исподлобья в даль одну вперяя взгляды,
Раздумье набредет тяжелою ногой
И слышишь выстрел ты, — то старые заряды.

10 апреля 1885

СВЕТОЧ

Ловец, все дни отдавший лесу,
Я направлял по нем стопы;
Мой глаз привык к его навесу
И ночью различал тропы.

Когда же вдруг из тучи мгlistой
Сосну ужалил яркий змей,
Я сам затеплил сук смолистый
У золотых ее огней.

Горел мой факел величаво,
Тянулись тени предо мной,
Но, обежав меня лукаво,
Они смыкались за спиной.

Пестреет мгла, блуждают очи,
Кровавый призрак в них глядит,
И тем ужасней сумрак ночи,
Чем ярче светоч мой горит.

16 августа 1885

* * *

Дух всюду сущий и единый.

Державин

Я потрясен, когда кругом
Гудят леса, грохочет гром
И в блеск огней гляжу я снизу,
Когда, испугом обуян,
На скалы мечет океан
Твою серебряную ризу.

Но просветленный и немой,
Овеян властью неземной,
Стою не в этот миг тяжелый,
А в час, когда, как бы во сне,
Твой светлый ангел шепчет мне
Неизреченные глаголы.

Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.

29 августа 1885

* * *

Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что́ я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы
И я слышу, как сердце цветет.

И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной. . . я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

2 сентября 1885

* * *

Ты помнишь, что́ было тогда,
Как всюду ручьи бушевали
И птиц косяками стада
На север, свистя, пролетали,

И видели мы средь ветвей,
Еще не укрытых листьями,
Как, глазки закрыв, соловей
Блаженствовал в песне над нами.

К себе зазывала любовь
И блеском и страстью пахучей,
Не только весельем дубов,
Но счастьем и ивы плакучей.

Взгляни же вокруг ты теперь:
Всё грустно молчит, умирая,
И настужь раскинута дверь
Из прежнего светлого рая.

И новых приветливых звезд
И новой любовной денницы,
Трудами измучены гнезд,
Взалкали усталые птицы.

Не может ничто устоять
Пред этой тоской неизбежной,
И скоро пустынную гладь
Оденет покров белоснежный.

6 сентября 1885

В ЛУННОМ СИЯНИИ

Выйдем с тобой побродить
В лунном сиянии!
Долго ли душу томить
В темном молчании!

Пруд как блестящая сталь,
Травы в рыдании,
Мельница, речка и даль
В лунном сиянии.

Можно ль тужить и не жить
Нам в обаянии?
Выйдем тихонько бродить
В лунном сиянии!

27 декабря 1885

А. Л. БРЖЕСКОЙ

Нет, лучше голосом ласкательно обычным
Безумца вечного, поэта, не буди;
Оставь его в толпе ненужным и безличным
За шумною волной безмолвному идти.

Зачем уснувшего будить к тоске бессильной?
К чему шептать про свет, когда кругом темно,
И дружеской рукой срывать покров могильный
С того, что спать навек в груди обречено?

Ведь это прах святой затихшего страданья!
Ведь это милые почившие сердца!
Ведь это страстные, блаженные рыданья!
Ведь это тернии колючего венца!

1 апреля 1886

* * *

Долго снились мне вопли рыданий твоих, —
То был голос обиды, бессилия плач;
Долго, долго мне снился тот радостный миг,
Как тебя умолил я — несчастный палач.

Проходили года, мы умели любить,
Расцветала улыбка, грустила печаль;
Проносились года, — и пришлось уходить:
Уносило меня в неизвестную даль.

Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?»
Чуть в глазах я заметил две капельки слез;
Эти искры в глазах и холодную дрожь
Я в бессонные ночи навек перенес.

2 апреля 1886

БУКУШКА

Пышные гнутся макушки,
Млея в весеннем соку;
Где-то вдали от опушки
Будто бы слышно: ку-ку.

Сердце! — вот утро — люби же
Всё, чем жило на веку;
Слышится ближе и ближе,
Как золотое, — ку-ку.

Или кто вспомнил утраты,
Вешнюю вспомнил тоску?
И раздаётся трикраты
Ясно и томно: ку-ку.

17 мая 1886

ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ

Я не у вас, я обделен!
Как тяжело изнеможенье;
У вас — порывы, блеск, движенье,
А у меня — не бред, а сон.

Какое счастье хоть на миг
Залюбоваться жизни далью,
Призыв слышать над роялью, —
Я всё признал бы и постиг.

Я б снова трепет ощутил,
Целебной силой с прежним схожий;
Я б верил вновь, что ангел божий
Пришел и воду возмутил.

28 мая 1886

* * *

Из дебрей туманы несмело
Родное закрыли село;
Но солнышком вешним согрело
И ветром их вдаль разнесло.

Знать, долго скитаться наскуча
Над ширью земель и морей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.

9 июня 1886

* * *

На зеленых уступах лесов
Неизменной своей белизной
Вознеслась ты под свод голубой
Над бродячей толпой облаков.

И земному в небесный чертог
Не дано ничему достигать:
Соберется туманная рать —
И растает у царственных ног.

23 июля 1886

* * *

Ты вся в огнях. Твоих зарниц
И я сверканьями украшен;
Под сенью ласковых ресниц
Огонь небесный мне не страшен.

Но я боюсь таких высот,
Где устоять я не умею.
Как сохранить мне образ тот,
Что придан мне душой твоею?

Боюсь — на бледный облик мой
Падет твой взор неблагоклонный,
И я очнусь перед тобой
Угасший вдруг и опаленный.

3 августа 1886

ОСЕННЯЯ РОЗА

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица роза,
Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаньям
И злобе гаснущего дня
Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.

18 сентября 1886

* * *

Прости — и всё забудь в безоблачный ты час.
Как месяц молодой на высоте лазури;
И в негу вешнюю врываются не раз
Стремленьем молодым пугающие бури.

Когда ж под тучею, прозрачна и чиста,
Поведает заря, что минул день ненастья, —
Былинки не найдешь и не найдешь листа,
Чтобы не плакал он и не сиял от счастья.

26 декабря 1886

*

* * *

В степной глуши, над влагой молчаливой,
Где круглые раскинулись листы,
Любуюсь я давно, пловец пугливый,
На яркие плавучие цветы.

Они манят и свежестью пугают.
Когда к звездам их взорами прильну,
Кто скажет мне: какую измеряют
Подводные их корни глубину?

О, не гляди так мягко и приветно!
Я так боюсь забыться как-нибудь.
Твоей души мне глубина заветна:
В свою судьбу боюсь я заглянуть.

<1887>

* * *

Если радует утро тебя,
Если в пышную веришь примету, —
Хоть на время, на миг полюбя,
Подари эту розу поэту.

Хоть полюбишь кого, хоть снесешь
Не одну ты житейскую грóзу, —
Но в стихе умиленном найдешь
Эту вечно душистую розу.

10 января 1887

* * *

Чуждые огласки,
Слышу речи ласки,
Вижу эти глазки,
Чую сердца дрожь, —

Томных грез поруки,
Засыпают звуки. . .
Их немые муки
Только ты поймешь!

31 января 1887



Как богат я в безумных стихах!
Этот блеск мне отраден и нужен:
Все алмазы мои в небесах,
Все росинки под ними жемчужин.

Выходи, красота, не робей!
Звуки есть, дорогие есть краски:
Это всё я, поэт-чародей,
Расточу за мгновение ласки.

Но когда ты приколешь цветок,
Шаловливо иль с думой лукавой,
И, как в дымке, твой кроткий зрачок
Загорится сердечной отравой,

И налет молодого стыда
Чуть ланиты овеет зарею, —
О, как беден, как жалок тогда,
Как беспомощен я пред тобою!

1 февраля 1887

* * *

Нет, я не изменил. До старости глубокой
Я тот же преданный, я раб твоей любви,
И старый яд цепей, отрадный и жестокой,
Еще горит в моей крови.

Хоть память и твердит, что между нас могила,
Хоть каждый день бреду томительно к другой, —
Не в силах верить я, чтоб ты меня забыла,
Когда ты здесь, передо мной.

Мелькнет ли красота иная на мгновенье,
Мне чудится, вот-вот, тебя я узнаю;
И нежности былой я слышу дуновенье,
И, содрогаясь, я пою.

2 февраля 1887

* * *

Когда читала ты мучительные строки,
Где сердца звучный пыл сиянье льет кругом
И страсти роковой вздымаются потоки, —
 Не вспомнила ль о чем?

Я верить не хочу! Когда в степи, как диво,
В полночной темноте безвременно горя,
Вдали перед тобой прозрачно и красиво
 Вставала вдруг заря

И в эту красоту невольно взор тянуло,
В тот величавый блеск за темный весь предел, —
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
 Там человек сгорел!

15 февраля 1887

* * *

Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завби, и блестки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Эти тяжким узлом набежавшие косы.

Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом.

И, сознание счастья на сердце храня,
Стану буйства я жизни живым отголоском.
Этот мед благовонный — он мой, для меня,
Пусть другим он останется топким лишь
воском!

25 апреля 1887

* * *

Благовонная ночь, благодатная ночь,
Раздраженье недужной души!
Всё бы слушал тебя — и молчать мне
невмочь
В говорящей так ясно тиши.

Широко раскидалась лазурная высь,
И огни золотые горят;
Эти звезды кругом точно все собрались,
Не мигая, смотреть в этот сад.

А уж месяц, что всплыл над зубцами аллея
И в лицо прямо смотрит, — он жгуч;
В недалекой тени непроглядных ветвей
И сверкает, и плещется ключ.

И меняется звуков отдельный удар;
Так ласкательно шепчут струи,
Словно робкие струны воркуют гитар,
Напевая призывы любви.

Словно всё и горит и звенит заодно,
 Чтоб мечте невозможной помочь;
Словно, дрогнув слегка, распахнется окно
 Поглядеть в серебристую ночь.

28 апреля 1887

МУЗА

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин

Ты хочешь проклинать, рыдая и стня,
Бичей подыскивать к закону.
Поэт, остановись! не призывай меня, —
Зови из бездны Тизифону.

Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.

Когда, бесчинствами обиженный опять,
В груди слышишь зов к рыданью, —
Я ради мук твоих не стану изменять
Свободы вечному призыванью.

Страдать! — Страдают все — страдает темный
зверь,
Без упованья, без сознанья, —
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.

Ожесточенному и черствому душой
Пусть эта радость незнакома.
Зачем же лиру бьешь ребяческой рукой,
Что не труба она погрома?

К чему противиться природе и судьбе? —
На землю сносят эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы к борьбе,
А исцеление от муки.

8 мая 1887

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священный прах своих сынов.

Они и под землей отвагой прежней дышат...
Боюсь, мои стопы покой их возмутят,
И мнится, все они шаги живого слышат,
Но лишь молитвенно молчат.

Счастливицы! Вышею пылали вы любовью:
Тут что ни мавзоль, ни надпись — всё боец,
И рядом улеглись, своей залиты кровью,
И дед со внуком и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно...

4 июня 1887

* * *

Через тесную улицу здесь, в высоте,
Отворяя порою окошко,
Я не раз, отдаваясь лукавой мечте,
Узнаю тебя, милая крошка.

Всё мне кажется, детски застенчивый взор
Загорается вдруг не напрасно,
И ко мне наклоненный твой пышный пробор
Я уж вижу не слишком ли ясно?

Вот и думаю: встретиться нам на земле
Далеко так, пожалуй, и низко,
А вот здесь-то, у крыш, в набегающей мгле,
Так привольно, так радостно-близко!

6 июня 1887

* * *

Светил нам день, будя огонь в крови.
Прекрасная, восторгов ты искала
И о своей несбыточной любви
Младенчески мне тайны поверяла.

Как мог, слепец, я не видать тогда,
Что жизни ночь над нами лишь сгустится,
Твоя душа, красы твоей звезда,
Передо мной, умчавшись, загорится,

И, разлучась навеки, мы пойдем,
Что счастья взрыв мы промолчали оба
И что вздыхать обоим нам по нем,
Хоть будем врознь стоять у двери гроба.

9 июня 1887



Как беден наш язык! — Хочу и не могу. —
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною.
Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

11 июня 1887





Вот и летние дни убавляются.
Где же лета лучи золотые?
Только серые брови сдвигаются,
Только зыблются кудри седые.

Нынче утром, судьбиною горькою
Истомленный, вздохнул я немножко:
Рано-рано румяною зорькою
На мгновенье зарделось окошко.

Но опять это небо ненастное
Безотрадно нависло над нами, —
Знать, опять, мое солнышко красное,
Залилось ты, вставая, слезами!

19 июня 1887



Всё, всё мое, что есть и прежде было,
В мечтах и снах нет времени оков;
Блаженных грез душа не поделила:
Нет старческих и юношеских снов.

За рубежом вседневного удела
Хотя на миг отрадно и светло;
Пока душа кипит в горниле тела,
Она летит, куда несет крыло.

Не говори о счастье, о свободе
Там, где царит железная судьба.
Сюда! сюда! не рабство здесь природе —
Она сама здесь верная раба.

17 июля 1887

* * *

С солнцем склоняясь за темную землю,
Взором весь пройденный путь я объемлю:
Вижу, бесследно пустынная мгла
День погасила и ночь привела.

Станным лишь что-то мерцает узором:
Горе минувшее тайным укором
В сбивчивом ходе несбыточных грез
Там миллионы рассыпало слез.

Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть...
Всё бы, ах, всё бы с собою унести!

22 августа 1887

* * *

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветер с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитья вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным
мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец —
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!

28 октября 1887



Не нужно, не нужно мне проблесков счастья,
Не нужно мне слова и взора участия,
Оставь и дозвожь мне рыдать!
К горячему снова прильнув изголовью,
Позволь мне моей нераздельной любовью,
Забыв всё на свете, дышать!

Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен, —
Безмолвно прошла б ты воздушной стопою,
Чтоб даже своей благовонной стезею
Больной не смутила мой сон.

Не так ли, чуть роща одеться готова,
В весенние ночи, — светила дневного
Бойтся крылатый певец? —
И только что сумрак разгонит денница,
Смолкает зарей отрезвленная птица, —
И счастью и песне конец.

4 ноября 1887

* * *

Мама! глянь-ка из окошка —
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело —
Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий
По ветвям развешан иней —
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:
За салазки, да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

9 декабря 1887

* * *

В полуночной тиши бессонницы моей
Встают пред напряженным взором
Былые божества, кумиры прежних дней,
С их вызывающим укором.

И снова я люблю, и снова я любим,
Несусь вослед мечтам любимым,
А сердце грешное томит меня своим
Неправосудьем нестерпимым.

Богини предо мной, давнишние друзья,
То соблазнительны, то строги,
Но тщетно алтарей ищу пред ними я:
Они — развенчанные боги.

Пред ними сердце вновь в тревоге и в огне,
Но пламень тот с былым несхожий;
Как будто, смертному потворствуя, оне
Сошли с божественных подножий.

И лишь надменные, назло живой мечте,
Не зная милости и битвы,
Стоят владычицы на прежней высоте
Под шепот презренной молитвы.

Их снова ищет взор из-под усталых век,
Мольба к ним тщетная стремится,
И прежний фимиам несбыточных надежд
У ног их всё еще дымится.

3 января 1888

* * *

Полуразрушенный, полужилец могилы,
О таинствах любви зачем ты нам поешь?
Зачем, куда тебя домчать не могут силы,
Как дерзкий юноша, один ты нас зовешь?

— Томлюся и пою Ты слушаешь и млеешь;
В напевах старческих твой юный дух живет.
Так в хоре молодом: *Ах, слышишь,*
разумеешь! —
Цыганка старая одна еще поет.

4 января 1888

Е. Д. ДУНКЕР

Если захочешь ты душу мою разгадать,
То перечти со вниманием эту тетрадь.
Можно ли трезвой то высказать силой ума,
Что опьяненному муза прошепчет сама?
Я назову лишь цветок, что срывает рука, —
Муза раскроет и сердце и запах цветка;
Я расскажу, что тебя беспредельно люблю, —
Муза поведает, что я за муки терплю.

17 января 1888

* * *

Прости! во мгле воспоминанья
Всё вечер помню я один, —
Тебя одну среди молчанья
И твой пылающий камин.

Глядя в огонь, я забывался,
Волшебный круг меня томил,
И чем-то горьким отзывался
Избыток счастья и сил.

Что за раздумие у цели?
Куда безумство завлекло?
В какие дебри и метели
Я уносил твоё тепло?

Где ты? Ужель, ошеломленный,
Кругом не видя ничего,
Застывший, вьюгой убеленный,
Стучусь у сердца твоего?..

22 января 1888

РАКЕТА

Горел напрасно я душой,
Не озаряя ночи черной:
Я лишь вознесся пред тобой
Стезю шумной и проворной.

Лечу на смерть вослед мечте.
Знать, мой удел — лелеять грезы
И там со вздохом в высоте
Рассыпать огненные слезы.

24 января 1888

* * *

Как трудно повторять живую красоту
Твоих воздушных очертаний;
Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний?

Когда из-под ресниц пушистых на меня
Блеснут глаза с просветом ласки,
Где кистью трепетной я наберу огня?
Где я возьму небесной краски?

В усердных поисках всё кажется: вот-вот
Приемлет тайна лик знакомый, —
Но сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой.

26 февраля 1888

ЗНОЙ

Что за зной! Даже тут, под ветвями,
Тень слаба и открыто кругом.
Как сошлись и какими судьбами
Мы одни на скамейке вдвоем?

Так молчать нам обоим неловко,
Что ни стань говорить — невпопад;
За тяжелой косою головка
Словно хочет склониться назад.

И как будто истомою жадной
Нас весна на припеке прожгла,
Только в той вон аллее прохладной
Средь полудня вечерняя мгла...

29 мая 1888

* * *

Руку бы снова твою мне хотелось пожать!
Прежнего счастья, конечно, уже не видать,
Но и под старость отраднo очами недуга
Вновь увидеть неизменно прекрасного друга.

В голой аллее, где лист под ногами шумит,
Как-то пугливо и сладостно сердце щемит,
Если стопам попирать довелось устало
То, что когда-то так много блаженства
скрывало.

14 августа 1888

* * *

Теснее и ближе сюда!
Раскрой ненаглядное око!
Ты — в сердце с румянцем стыда.
Я — луч твой, летящий далеко.

На горы во мраке ночном,
На серую тучку заката,
Как кистью, я этим лучом
Наброшу румянца и злата.

Напрасно холодная мгла,
Чернея, всё виснет над нами, —
Пускай и безбрежность сама
От нас загорится огнями.

4 сентября 1888

* * *

Сегодня все звезды так пышно
Огнем голубым разгорались,
А ты промелькнула неслышно,
И взоры твои преклонялись.

Зачем же так сердце нестройно
И робко в груди застучало?
Зачем под прохладой так знойно
В лицо мне заря задышала?

Всю ночь прогляжу на мерцанье,
Что светит и мощно и нежно,
И яркое это молчанье
Разгадывать стану прилежно.

27 октября 1888

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЫ

Нас отпевают. В этот день
Никто не подойдет с хулою:
Всяк благосклонною хвалою
Немую провожает тень.

Как лик усопшего светить
Душою лучшей начинает!
Не то, чем был он, проступает,
А только то, чем мог он быть.

Живым карать и награждать,
А нам у гробового входа,
О муза, — нам велит природа,
Навек смиряясь, молчать.

20 декабря 1888



Гаснет заря в забытьи, в полусне.
Что-то неясное шепчешь ты мне;
Ласки твои я расслушать хочу, —
«Знаю, ах, знаю», — тебе я шепчу.

В блеске, в румянном разливе огня,
Ты потонула, ушла от меня;
Я же, напрасной истомой горя, —
Летняя вслед за тобою заря.

Сладко сегодня тобой мне сгорать,
Сладко, летя за тобой, замирать...
Завтра, когда ты очнешься иной,
Свет не допустит меня за тобой.

29 декабря 1888

* * *

От огней, от толпы беспощадной
Незаметно бежали мы прочь;
Лишь вдвоем мы в тени здесь прохладной,
Третья с нами лазурная ночь.

Сердце робкое бьется тревожно,
Жаждет счастье и дать и хранить;
От людей утаяться возможно,
Но от звезд ничего не сокрыть.

И безмолвна, кротка, серебриста,
Эта полночь за дымкой сквозной
Видит только что́ вечно и чисто,
Что́ навеяно ею самой.

7 февраля 1889

* * *

Роями поднялись крылатые мечты
В весне кругом себя искать душистой пищи,
Но на закате дня к себе, царица, ты
Их соберешь ко сну в таинственном жилище.

А завтра на заре вновь крылья зажужжат,
Чтобы к незримому, к безвестному стремиться:
Где за ночь расцвело, где первый аромат —
Туда перенестись и в пышной неге скрыться.

17 февраля 1889

* * *

Устало всё кругом: устал и цвет небес,
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклой спящий лес,
И желтый тот листок, что наконец свалился.

Лепечет лишь фонтан среди дальней темноты,
О жизни говоря незримой, но знакомой...
О ночь осенняя, как всемогуща ты
Отказом от борьбы и смертною истомой!

24 августа 1889

* * *

Озираясь на юность тревожно,
Будь заветной святыне верна!
Для надежды граница возможна, —
Невозможна для веры она.

Не дивись же, что прежнее пламя
Всё твою окружает красу:
Ты уходишь, но верное знамя
На ходу над собой я несусь.

14 сентября 1889

* * *

Людские так грубы слова,
Их даже нашептывать стыдно!
На цвет, проглянувший едва,
Смотреть при тебе мне завидно.

Вот роза раскрыла уста, —
В них дышит моленье немое,
Чтоб ты пребывала чиста,
Как сердце ее молодое.

Вот, нежа дыханье и взор,
От счастья роза увяла
И свой благовонный убор
К твоим же ногам разроняла.

Начало октября 1889

QUASI UNA FANTASIA ¹

Сновиденье,
Пробужденье,
Таёт мгла.
Как весною,
Надо мною
Высь светла.

Неизбежно,
Страстно, нежно
Уповать,
Без усилий
С плеском крылий
Залетать

В мир стремлений,
Преклонений
И молитв;
Радость чуя,
Не хочу я
Ваших битв.

31 декабря 1889

¹ Вроде фантазии (итал.). — *Ред.*

* * *

Чуя внушенный другими ответ,
Тихий в глазах прочитал я запрет,
Но мне понятней еще говорит
Этот правдивый румянец ланит,
Этот цветов обмирающих зов,
Этот теней набегающий кров,
Этот предательский шепот ручья,
Этот рассыпчатый клич соловья.

30 января 1890

НА КАЧЕЛЯХ

И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.

И чем ближе к вершине лесной,
Чем страшнее стоять и держаться,
Тем отрадней взлетать над землей
И одним к небесам приближаться.

Правда, это игра, и притом
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам вдвоем —
Это счастье, моя дорогая!

26 марта 1890



Погляди мне в глаза хоть на миг,
Не таись, будь душой откровенней:
Чем яснее безумство в твоих,
Тем блаженство мое несомненной.

Не дано мне витийство: не мне
Связных слов преднамеренный лепет! —
А больного безумца вдвойне
Выдают не реченья, а трепет.

Не стыжусь заиканий своих:
Что доступнее, то многоценней.
Погляди ж мне в глаза хоть на миг,
Не таись, будь душой откровенней.

3 апреля 1890

УГАСИМ ЗВЕЗДАМ

Долго ль впивать мне мерцание ваше,
Синего неба пытливые очи?
Долго ли чуют, что выше и краше
Вас ничего нет во храмине ночи?

Может быть, нет вас под теми огнями:
Давняя вас погасила эпоха, —
Так и по смерти лететь к вам стихами,
К призракам звезд, буду призраком вдоха!

6 мая 1890

ПОЭТАМ

Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи, и руки воздеты.
Здесь на коленях я снова невольно,
Как и бывало, пред вами, поэты.

В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.

Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.

С торжищ житейских, бесцветных и душных,
Видеть так радостно тонкие краски,
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки.

5 июня 1890

* * *

Хоть счастье судьбой даровано не мне,
Зачем об этом так напоминать небрежно?
Как будто бы нельзя в больном и сладком сне
Дозволить мне любить вас пламенно и нежно.

Хотя б признался я в безумиях своих,
Что стоит робкого вам не пугать признанья?
Что стоит шелк ресниц склонить вам в этот миг,
Чтоб не блеснул в очах огонь негодованья?

Участья не прошу — могла б и ваша грусть,
Хотя б притворная, родить во мне отвагу,
И, издали молясь, поэт-безумец пусть
Прекрасный образ ваш набросит на бумагу.

16 июня 1890

* * *

Запретили тебе выходить,
Запретили и мне приближаться,
Запретили, должны мы признаться,
Нам с тобою друг друга любить.

Но чего нам нельзя запретить,
Что́ с запретом всего несовместней —
Это песня: с крылатою песней
Будем вечно и явно любить.

7 июля 1890

* * *

Что молчишь? Иль не видишь — горю,
Всё равно — отстрани хоть, приветь ли.
Я тебе о любви говорю,
А вязанья считаешь ты петли.

Отчего же сомненье свое
Не гасить мне в неведеньи этом?
Отчего же молчанье твое
Не наполнить мне радужным светом?

Может быть, я при нем рассмотрю,
В нем отрадного, робкого нет ли...
Хоть тебе о любви говорю,
А вязанья считаешь ты петли.

11 ноября 1890

СЕНТЯБРЬСКАЯ РОЗА

За вздохом утренним мороза,
Румянец уст приотворя,
Как странно улыбнулась роза
В день быстролетный сентября!

Перед порхающей синицей
В давно безлиственных кустах
Как дерзко выступать царицей
С приветом вешним на устах.

Расцвесь в надежде неуклонной —
С холодной разлучась грядой,
Прильнуть последней, опьяненной
К груди хозяйки молодой!

22 ноября 1890

* * *

Еще люблю, еще томлюсь
Перед всемирной красотой
И ни за что не отрекусь
От ласк, ниспосланных тобою.

Пэкуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятен отовсюду.

Покорны солнечным лучам,
Так сходят корни в глубь могилы
И там у смерти ищут силы
Бежать навстречу вешним дням.

10 декабря 1890

* * *

На кресле отваясь, гляжу на потолок,
Где, на задор воображенью,
Над лампой тихою подвешенный кружок
Вертится призрачною тенью.

Зари осенней след в мерцаньи этом есть:
Над кровлей, кажется, и садом,
Не в силах улететь и не решаясь сесть,
Грачи кружатся темным стадом...

Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца!
Я слышу трепетные руки...
Как бледность холодна прекрасного лица!
Как шепот горестен разлуки!..

Молчу, потерянный, на дальний путь глядя
Из-за темнеющего сада, —
И кружится еще, приюта не найдя,
Грачей встревоженное стадо.

15 декабря 1890

* * *

Опавший лист дрожит от нашего движенья,
Но зелени еще свежа над нами тень,
А что-то говорит средь радости сближенья,
Что этот желтый лист — наш следующий день.

Как ненасытны мы и как несправедливы:
Всю радость явную неверный гонит страх!
Еще так ласковы волос твоих извивы!
Какой живет восторг на блекнувших устах!

Идем. Надолго ли еще не разлучаться,
Надолго ли дышать отрадою? Как знать!
Пора за будущность заранее не пугаться,
Пора о счастье учиться вспоминать.

15 января 1891

* * *

Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал,
Ни за что б я тебе этих слов не сказал;
Я боялся б тебя возмутить, оскорбить
И последнюю искру в тебе погасить.

Или воли не хватит смотреть и страдать?
Я бы мог еще долго и долго молчать, —
Но, начав говорить о другом, — я солгу,
А глядеть на тебя я и лгать — не могу.

18 января 1891

* * *

Завтра — я не различаю;
Жизнь — запутанность и сложность!
Но сегодня, умоляю,
Не шепчи про осторожность!

Где владеть собой, коль глазки
Влагой светятся туманной,
В час, когда уводят ласки
В этот круг благоуханный?

Размышлять не время, видно,
Как в ушах и в сердце шумно;
Рассуждать сегодня — стыдно,
А безумствовать — разумно.

25 января 1891

* * *

Только месяц взошел
После жаркого дня, —
Распустился, расцвел
Цвет в груди у меня.

Что за счастье — любя,
Этот цвет охранять!
Как я рад, что тебя
Никому не видать!

Погляди, как спешу
Я в померкнувший сад —
И повсюду ношу
Я цветка аромат.

11 февраля 1891

* * *

Качаяся, звезды мигали лучами
На темных зыбях Средиземного моря,
А мы любовались с тобою огнями,
Что мчались под нами, с небесными споря.

В каком-то забвеньи, немом и целебном,
Смотрел я в тот блеск, отдаваясь неге;
Казалось, рулем управляя волшебным,
Глубоко ты грудь мне взрезаешь в побеге.

И там, в глубине, молодая царица,
Бегут пред тобой светоносные пятна,
И этих несметных огней вереница
Одной лишь тебе и видна и понятна.

17 февраля 1891

* * *

Кляните нас: нам дорога свобода,
И буйствует не разум в нас, а кровь,
В нас вопиет всеильная природа,
И прославлять мы будем век любовь.

В пример себе певцов весенних ставим:
Какой восторг — так говорить уметь!
Как мы живем, так мы поем и славим,
И так живем, что нам нельзя не петь!

2 марта 1891

* * *

Мы встретились вновь после долгой разлуки,
Очнувшись от тяжелой зимы;
Мы жали друг другу холодные руки
И плакали, плакали мы.

Но в крепких незримых оковах сумели
Держать нас людские умы;
Как часто в глаза мы друг другу глядели
И плакали, плакали мы!

Но вот засветилось над черною тучей
И глянуло солнце из тьмы;
Весна, — мы сидели под ивой плакучей
И плакали, плакали мы!

30 марта 1891

* * *

Люби меня! Как только твой покорный
Я встречу взор,
У ног твоих раскину я узорный
Живой ковер.

Окрылены неведомым стремленьем,
Над всем земным
В каком огне, с каким самозабвеньем
Мы полетим!

И, просияв в лазури сновиденья,
Предстанешь ты
Царить навек в дыханьи песнопенья
И красоты.

13 апреля 1891



За горами, песками, морями —
Вечный край благовонных цветов,
Где, овеяны яркими снами,
Дремлют розы, не зная снегов.

Но красы истомленной молчанье
Там на всё налагает печать,
И палящего солнца лобзанье
Призывает не петь, а дышать.

Восприяв опьянения долю
Задремавших лесов и полей,
Где же вырваться птичке на волю
С затаенною песнью своей?

И сюда я, где сумрак короче,
Где заря любит зóрю будить,
В холодок вашей северной ночи,
Прилетаю и петь и любить.

Апрель 1891

* * *

Я говорю, что я люблю с тобою встречи
За голос ласковый, за нежный цвет ланит,
За блеск твоих кудрей, спадающих на плечи,
За свет, что в глубине очей твоих горит.

О, это всё — цветы, букашки и каменья,
Каких ребенок рад набрать со всех сторон
Любимой матери в те сладкие мгновенья,
Когда ей заглянуть в глаза так счастлив он.

29 мая 1891

* * *

Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян,
И, безмолвные, мы слышим,
Что, струей своей колышим,
Напеваает нам фонтан.

— Я, и кровь, и мысль, и тело —
Мы послушные рабы:
До известного предела
Все возносимся мы смело
Под давлением судьбы.

Мысль несется, сердце бьется,
Мгле мерцаньем не помочь;
К сердцу кровь опять вернется,
В водоем мой луч прольется,
И заря потушит ночь.

7 июня 1891

Давно в любви отрады мало:
Без отзыва вздохи, без радости слезы;
Что было сладко — горько стало,
Осыпались розы, рассеялись грезы.

Оставь меня, смешай с толпою!
Но ты отвернулась, а сетуешь, видно,
И всё еще больна ты мною...
О, как же мне тяжело и как мне обидно!

24 июня 1891

П. И. ЧАЙКОВСКОМУ

Тому не лестны наши оды,
Наш стих родной,
Кому гремели антиподы
Такой хвалой.

Но, потрясенный весь струнами
Его цевниц,
Восторг не может и меж нами
Терпеть границ.

Так пусть надолго музы наши
Хранят певца
И он кипит, как пена в чаше
И в нас сердца!

18 августа 1891

* * *

Опять осенний блеск денницы
Дрожит обманчивым огнем,
И уговор заводят птицы
Умчаться стаяй за теплом.

И болью сладостно-суровой
Так радо сердце вновь зануть,
И в ночь краснеет лист кленовый,
Что, жизнь любя, не в силах жить.

7 сентября 1891

* * *

Ель рукавом мне тропинку завесила.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело, —
Я ничего не пойму.

Ветер. Кругом всё гудет и колышется,
Листья кружатся у ног.
Чу, там вдали неожиданно слышится
Тонко взывающий рог.

Сладостен зов мне глашатая медного!
Мертвые что мне листы!
Кажется, издали странника бедного
Нежно приветствуешь ты.

4 ноября 1891

ПОЧЕМУ?

Почему, как сидишь озаренной,
Над работой пробор наклоня,
Мне сдается, что круг благовонный
Всё к тебе приближает меня?

Почему светлой речи значенья
Я с таким затрудненьем ищу?
Почему и простые реченья
Словно томную тайну шепчу?

Почему как горячее жало
Чуть заметно зпивается в грудь?
Почему мне так воздуху мало,
Что хотел бы глубоко вздохнуть?

3 декабря 1891

* * *

Не отнеси к холодному бесстрастью,
Что на тебя безмолвно я гляжу;
Ступенями к томительному счастью
Не меньше я, чем счастьем, дорожу.

С собой самим мне сладко лицемерить,
Хоть я давно забыл о всем ином,
И верится, и не хочу я верить,
Что нет преград, что мы одни вдвоем.

Мой поцелуй, и пламенный и чистый,
Не вдруг спешит к устам или щеке;
Жужжанье пчел над яблонью душистой
Отрадней мне замолкнувших в цветке.

15 февраля 1892

* * *

Не могу я слышать этой птички,
Чтобы тотчас сердцем не вспорхнуть;
Не могу, наперекор привычке,
Как войдешь, — хоть молча не вздохнуть.

Ты не вспыхнешь, ты не побледнеешь,
Взоры полны тихого огня;
Больно видеть мне, как ты умеешь
Не видать и не слышать меня.

Я тебя невольно беспокою,
Торжество должна ты искупить:
На заре без туч нельзя такую
Молодой и лучезарной быть!

16 февраля 1892

* * *

Всё, что волшебнo так манило,
Из-за чего весь век жилось,
Со днями зимними остыло
И непробудно улеглось.

Нет ни надежд, ни сил для битвы —
Лишь, посреди ничтожных смут,
Как гордость дум, как храм молитвы,
Страданья в прошлом встают.

28 февраля 1892

* * *

Рассыпаясь смехом ребенка,
Явно в душу мою влюблены,
Пролетают прозрачно и звонко
Надо мною блаженные сны.

И, мгновенной охвачен истомой,
Снова молодость чую свою;
Узнаю я и голос знакомый
И победный призыв узнаю.

И когда этой песне внимаю,
Окрыленный восторгом, не лгу,
Что я всё без речей понимаю
И к чему призывает — могу!

13 марта 1892

* * *

Когда смущенный умолкаю,
Твоей суровостью томим,
Я всё в душе не доверяю
Холодным колкостям твоим.

Я знаю, иногда в апреле
Зима неожиданно набежит
И дуновение метели
Колючим снегом закружит.

Но миг один — и солнцем вешним
Согреет юные поля,
И счастьем светлым и нездешним
Дохнет воскресшая земля.

26 марта 1892

* * *

Ночь лазурная смотрит на скошенный луг.
Запах роз под балконом и сена вокруг;
Но за то ль, что отрады не жду впереди, —
Благодарности нет в истомленной груди.

Всё далекий, давнишний мне чудится сад, —
Там и звезды крупней, и сильней аромат,
И ночных благовоний живая волна
Там доходит до сердца, истомы полна.

Точно в нежном дыханьи травы и цветов
С ароматом знакомым доносится зов,
И как будто вот-вот кто-то милый опять
О восторге свиданья готов прошептать.

12 июня 1892

* * *

Тяжело в ночной тиши
Выносить тоску души
Пред безглазым домовым,
Темным призраком немым,
Как стихийная волна
Над душой одна вольна.

Но зато люблю я днем,
Как замолкнет всё кругом,
Различать, раздумья полн,
Тихий плеск житейских волн.
Не меня гнетет волна,
Мысль свежа, душа вольна;
Каждый миг сказать хочу:
«Это я!» Но я молчу.

15 сентября 1892

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании представлены избранные стихотворения А. А. Фета. За пределами настоящего издания остались почти все стихотворения из раннего сборника «Лирический пантеон», поэмы и переводы.

Работа по подготовке научного издания стихотворений Фета проводилась в советское время Б. Я. Бухштабом. Итогом его исследовательской работы явились два издания полного собрания стихотворений Фета в Большой серии «Библиотеки поэта» (1937 и 1959 гг.). В этом сборнике тексты стихотворений приводятся по последнему из них. Стихотворения расположены в хронологическом порядке. Даты в угловых скобках обозначают год, позднее которого стихотворение не могло быть написано.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«На заре ты ее не буди...». На слова этого стихотворения А. Е. Варламовым создан романс, получивший большую известность.

«Вот утро севера — сонливое, скупое...». *Окно волоковое* — маленькое, задвижное оконце, в которое также выволакивает дым в курной избе.

«Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...». Описано девичье гадание. В зеркале должен был, по поверью, появиться суженый. Когда девица скажет: «Чур меня», изображение исчезает.

«Полно смеяться! что это с вами?...». Девичье гадание; оно состояло в том, что подходили к амбарам и слушали: если услышат пересыпку хлеба — это примета того, что замужняя жизнь будет обеспеченная, с достатком. Слушали и у церковных дверей: считалось, что если услышат погребальное пение, оно предвещает смерть. *Шут* — здесь: нечистая сила, черт.

«Ночь крещенская морозна...». Описание девичьего гадания: в полночь при лунном свете наводят маленькое зеркало против большого, в большом должны показаться одно за другим двенадцать зеркал. В последнем из них должен отразиться загадываемый человек, чаще всего это гадание на суженого.

«Перекресток, где ракирка...». Еще одно гадание: девушки выходят ночью на улицу и спрашивают у первого встречного имя; считалось, что то же имя будет у суженого.

«Не отходи от меня...». На слова стихотворения есть романсы А. Е. Варламова и П. И. Чайковского.

Сон и Пази́фая. Герои стихотворения — бог сна и харита *Пази́фая* (Пасифея, Паситея). Хариты в греческой мифологии — богини красоты, радости, олицетворение женской прелести.

«Я пришел к тебе с приветом...». На слова этого стихотворения написаны романсы А. С. Аренского, М. А. Балакирева, Н. К. Метнера, Н. А. Римского-Корсакова и др.

Узник. И. С. Тургенев, процитировав это стихотворение в одном из писем, отмечал, что в нем «действительно поэтически схвачен один из многочисленных моментов узнической жизни, узнических чувств... — а именно момент радости перед близким освобождением».

«Когда мои мечты за гранью прошлых дней...». Слова из стихотворения послужили названием сборника стихотворений А. Блока «За гранью прошлых дней», из него же взят Блоком эпиграф к сборнику. *Я плачу сладостно, как первый иудей*. Имеется в виду библейская легенда: бог привел евреев из Египта в Палестину, землю обетованную, т. е. обещанную им издревле.

«Уж верба вся пушистая...». В середине мая 1866 г. Л. Н. Толстой писал Фету, что с началом весны он «тысячу раз в различных ее фазах» читал старые стихи поэта о весне; «Уж верба вся пушистая...» и «Опять незримые

усилья...» «несколько раз прочлись мне, который не помнит стихов».

Серенада. На слова стихотворения существуют романсы П. П. Булахова и Н. А. Римского-Корсакова.

«За кормою струйки вьются...». «Норма» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини.

«Весеннее небо глядится...». Написано во время пребывания Фета во Франкфуртена-Майне (Германия).

«Когда мечтательно я предан тишине...». *Аргус* (греч. миф.) — неусыпный стокий страж.

«Тебе в молчании я простираю руку...». *Полунощная природа* — северная.

«Я люблю его жарко: он тигром в бою...». *Мугаммед* (Магомет) — основатель ислама. *Фатима* — дочь Магомета.

«Свеж и душист твой роскошный венок...». На слова стихотворения написан романс Н. А. Римского-Корсакова.

Змей. По старинному русскому суеверию, нечистая сила в образе змея огненного летает по ночам к некоторым женщинам и совращает их.

Лихорадка Сестры, девять лихоманок. По старинному поверью, лихорадок — девять сестер, они бродят по свету и могут одним поцелуем вызвать болезнь.

Диана. Стихотворение вызвало чрезвычайно высокую оценку современников: Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и др. Ф. М. Достоевский писал: «Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы не знаем ничего более сильного, жизненного во всей нашей русской поэзии». *Стогны* — площади или широкие улицы.

«Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый направил...». *Влажное ложе* — море, над которым восходит солнце. *Феб* (Гелиос) — бог солнца. *Фаэтон* (Фазтон) — его сын, герой древнегреческого мифа; выпросив у отца его солнечную колесницу, Фазтон поехал по небу, но не смог сдержать огненных коней и зажег небо и землю. Зевс убил его молнией. *Эос* (греч. миф.) — богиня утренней зари, по утрам возносилась на колеснице из океана на небо. *Пракситель* — знаменитый скульптор Древней Греции.

Кусок мрамора. *Тит* (41—81 гг.) — римский император, имел репутацию милостивого правителя. *Фавн* (римск. миф.) — бог лесов и полей, дразнил и пугал путников. *Змей примирителя* — жезл, крылья и стан быстregoногий. Имеется

в виду бог Меркурий, в мифах — гонец и глашатай. Он изображался с крыльями на подошвах и жезлом, обвитым двумя змеями и увенчанным крыльями.

«О, не зови! Страстей твоих так звонок...». Фет в «Моих воспоминаниях» так комментировал смысл этого стихотворения: «Человек влюбленный говорит не о своих намерениях следовать или не следовать за очаровательницей, а только о ее власти над ним. «О, не зови — это излишне. Я без того, заслышав песнь твою, хотя бы запетую без мысли обо мне, со слезами последую за тобой».

Последнее слово. В рукописи называлось «Пророку» и начиналось следующей строфой, произносимой разгневанным богом:

Восстань, пророк, и препояшься снова,
Иди ты в путь, которым прежде шел,
Последнее мое поведай слово
И грозный мой им возвести глагол.

Стихотворение — традиционная поэтическая вариация на мотивы Библии.

К О ф е л и и. В тексте стихотворений есть отзвуки известных поэтических мест из трагедий Шекспира «Гамлет» («*Офелия гибла и пела...*») и «Отелло» («*Про иву, про иву зеленую спой...*»).

«Шепот, робкое дыханье...». Стихотворение вызвало широкий отклик в литературных и читательских кругах. М. Е. Салтыков (Щедрин) писал в рецензии на сборник стихотворений Фета: «Бесспорно, в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени, как стихотворение г. Фета «Шепот, робкое дыханье...». Л. Н. Толстой говорил: «Это мастерское стихотворение; в нем ни одного глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина; не совсем удачно разве только выражение «В дымных тучках пурпур розы» (из воспоминаний С. Л. Толстого). Одновременно стихотворение вызвало десятки пародийных откликов разных авторов, в том числе неоднократно — Д. Д. Минаева. Стихотворение положено на музыку М. А. Балакиревым, Н. А. Римским-Корсаковым, Н. К. Метнером и др.

«Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад...». На слова стихотворения написан романс С. И. Танеева.

На Днепре в половодье. Посвящено Авдотье Яковлевне *Панаевой*, писательнице, жене Н. А. Некрасова.

«Не говори, мой друг: „Она меня забудет...“». *Дриады* (греч. миф.) — нимфы, покровительницы деревьев.

Степь вечером. *Лунь* — хищная птица из семейства соколиных.

Первая борозда. *Церера* (римск. миф.) — богиня земледелия и плодородия, охранительница посевов. *Гея* (греч. миф.) — олицетворение земли, по одному из мифологических вариантов была супругой Зевса (Юпитера).

Муза («Не в сумрачный чертог наяды говорливой...»). *Цитара* — музыкальный инструмент. *Епанча* — длинный широкий плащ. *Пиериды* (пизариды) — музы.

Шарманщик. *Гаер* — шут, клоун, паяц.

Диана, Эндимион и сатир. На сюжет картины К. П. Брюллова с тем же названием. *Эндимион* (греч. миф.) — прекрасный юноша, охотник, к которому вспыхнула любовью богиня охоты *Диана*; она усыпила его, чтобы поцеловать.

Памяти Д. Л. Крюкова. Написано к десятилетию со дня смерти Дмитрия Львовича *Крюкова* (1809—1845), профессора римской словесности в Московском университете, где учился Фет. *Горацій* — знаменитый древнеримский поэт. *С громодержащего орла*. Верховный бог греков Зевс (Юпитер) обычно изображался с орлом возле его трона.

Венера Милосская. Стихотворение посвящено знаменитой античной статуе. *Пафосская страсть* — любовная страсть (богине любви и красоты Афродите — в римской мифологии Венере — был посвящен храм в городе Пафосе на острове Кипр). *Вся млея пеною морской*. Согласно мифу, Афродита появилась из пены морской.

Е. П. Ковалевскому. *Ковалевский* Егор Петрович (1811—1868) — путешественник и писатель.

Италия. Написано во время первого заграничного путешествия. *Сивилла* (миф.) — пророчица.

На развалинах цезарских палат. *Цезарские палаты*. Имеется в виду обиталище древнеримских императоров. *Квирит* — римский гражданин. *Напрасно лепетал ты эллинские звуки*. *Эллинский* — греческий; Древний Рим унаследовал, по мнению Фета, лишь внешнюю сторону великой культуры Древней Греции, завоеванной римлянами. *Камена* — муза.

Еще майская ночь. Это стихотворение вызвало восторженный отклик Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева, особенно отметивших строки:

И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Певице. На слова стихотворения есть романс П. И. Чайковского.

Anruf an die Geliebte Бетховена. Возможно, стихотворение навеяно впечатлением от романса Бетховена «К возлюбленной» («An die Geliebte»), или же его циклом романсов «К далекой возлюбленной», хотя прямой связи с текстом этих романсов в стихотворении нет. На слова стихотворения написан романс П. И. Чайковского.

«На стог сена ночью южной...». П. И. Чайковский в одном из писем называет это стихотворение «гениальным», приводя его как пример тех стихов Фета, которые он «ставит наравне с самым высшим, что только есть высшего в искусстве». *Твердь* — небо.

Шиллеру. Посвящено великому немецкому поэту Фридриху *Шиллеру* (1759—1805).

Аполлон Бельведерский. Стихотворение описывает знаменитую античную статую. *Кастальский* ключ — источник на горе Парнас, близ храма бога *Аполлона*; в переносном смысле — источник вдохновения.

«Как хорош чуть мерцающим утром...». Это и последующие три стихотворения написаны во время пребывания у Средиземного

моря. *Амфитрита* (греч. миф.) — владычица морей, супруга бога Посейдона.

Рыбка. *Бурмитское зерно* — крупный жемчуг.

Тургеневу («Прошла зима, затихла вьюга...»). Написано во время пребывания И. С. Тургенева в Италии. *Антики* — памятники античного искусства.

Старые письма. В стихотворении Фет вспоминает Марию Лазич (см. вступ. статью, стр. 25).

«Я ждал. Невестой-царицей...». *Багряница* (порфира) — царская мантия.

«Ты прав: мы старимся. Зима недалеко...»; *Парки* (римск. миф.) — богини судьбы: они пряли и перерезали «нить жизни». *Геба* (греч. миф.) — богиня юности, на пирах богов подносила им нектар.

Тургеневу («Из мачт и паруса — как честно он служил...»). Стихотворение обращено к И. С. Тургеневу, с которым Фет был связан многолетней дружбой. Строфа 2 говорит о длительном пребывании Тургенева за границей; он был во время написания стихотворения в курортном городе Баден-Баден («где телом страждущий пьет животворный ключ»). *Плэктрон* — пластинка для игры на греческих струнных инструментах, здесь символизирует орудие поэтического творчества.

«Измучен жизнью, коварством надежды...». Эпиграф к двум стихотворениям — из философского произведения А. Шопенгауэра «Парерга и паралипомена».

Роза. *Киприда* — так называли греки богиню любви Афродиту по имени острова Кипр, который считался ее любимым местопребыванием.

«Напрасно ты восходишь надо мной...». *Мемнон* (греч. миф.) — сын Эос (зари). По преданию, его статуя в городе Фивы издавала на утренней заре звук, напоминающий звон лопнувшей струны: этим звуком Мемнон отвечал на приветствие его матери — зари.

Майская ночь. Л. Н. Толстой писал Фету, получив от него это стихотворение: «Стихотворение — одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя, оно живое само и прелестно».

«В дымке-невидимке...». Прочтя полученное им от Фета стихотворение, Л. Н. Толстой писал поэту: «Стихотворение ваше крошечное прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты выражено прелестно». На слова этого стихотворения написан романс С. И. Танеева.

Графу Л. Н. Толстому («Как ястребу, который просидел...»). *Так бросил мне кавказ-*

ские ты песни. Л. Н. Толстой прислал Фету прозаический перевод нескольких песен кавказских горцев. Фет переложил эти переводы в стихи.

Ему же при появлении романа «Война и мир». *Жестоковыйный* — непокорный, непреклонный, несгибаемый.

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...». Наверяно впечатлением от пения Т. А. Кузминской (сестра жены Л. Н. Толстого).

«Ты отстрадала, я еще страдаю...». Посвящено, очевидно, М. Лазич (см. вступ. статью, стр. 25). Л. Н. Толстой в письмах Фету назвал это стихотворение «прекрасным».

А. Л. Бржеской («Далекий друг, пойми мои рыдания...»). *Бржеская* Александра Львовна (род. в 1821 г.) — жена А. Ф. Бржеского. С семьей Бржеских Фет впервые встретился летом в 1845 г. в их имении в Херсонской губернии. Фет сохранил дружеские отношения с Бржескими до конца своих дней. Биографы Фета предполагают, что поэт был влюблен в Бржескую и что ей посвящено стихотворение «Мы встретились вновь после долгой разлуки...».

А. Л. Бржеской («Опять весна! опять дрожат листья...»). В строфах 2-й и 3-й вспоминается муж Бржеской — А. Ф. Бржеский, умерший в 1868 г.

«Не тем, господь, могуч, непостижим...». *Серафим* — шестикрылый ангел в христианской мифологии.

Ничтожество. Слово «ничтожество» употреблено здесь в старинном значении — «небытие».

Шопену. В этом стихотворении Фет стремится найти поэтическое соответствие эмоциональному строю музыки великого польского композитора Фредерика *Шопена* (1810—1849). В ритмическом рисунке стихотворения есть переключки с музыкальным ритмом мазурки.

Музе («Пришла и села. Счастлив и тревожен...»). *Ревностью не ниже я других* — то есть усердием.

Романзего. *Romanzero* — испанские народные песни. Это слово послужило названием цикла лирических стихотворений Генриха Гейне.

«Заиграли на рояле...». В те годы существовала игрушка: легчайшие пробковые куколочки в ярких одеждах с блестками из фольги ставились на крышку рояля и от легкого сотрясения при игре на рояле прыгали и вращались.

На книжке стихотворений Тютчева. *Сырты* — группа возвышенностей в России, расположена между Волгой и Южным Ура-

лом. *Геликон* (греч. миф.) — гора, на которой обитали музы. *Анакреон* — древнегреческий поэт.

Полонскому. *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — известный русский поэт.

«Сад весь в цвету...». На слова стихотворения А. С. Аренским написан романс.

Ласточки. *Сосуд скудельный* — церковно-книжное выражение, употребляемое в переносном смысле, — о человеке, как слабом, брэнном существе.

В. С. Соловьеву. *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ и поэт.

«Я потрясен, когда кругом...». Эпиграф из оды Г. Р. Державина «Бог».

«Я тебе ничего не скажу...». На слова стихотворения написан романс П. И. Чайковского.

«Ты помнишь, что́ было тогда...». *Денница* — свет, видимый на востоке перед восходом солнца, утренняя заря.

Графине С. А. Толстой («Я не у вас, я обделен!..»). Посвящено Софье Андреевне *Толстой* (1844—1919) — жене Л. Н. Толстого. *Я б ве-*
*

рил вновь, что ангел божий. Образ заимствован из евангельского предания об «овчей купели»: ангел возмущал в ней воду, которая от того становилась целебной.

Осенняя роза А. Б. Гольденвейзер вспоминает отзыв Л. Н. Толстого о стихотворении. Прочитав вслух первую строфу, он сказал: «Как это хорошо: «Дыханьем ночи обожгло!» Это совсем тютчевский прием... Как смело, и в трех словах вся картина!»

Муза («Ты хочешь проклинать, рыдая и стена...»). Эпиграф из стихотворения А. С. Пушкина «Чернь». *Тизифона* (греч. миф.) — богиня кровной мести, одна из трех фурий, богинь мщения.

Севастопольское братское кладбище. Стихотворение вызвано воспоминаниями о посещении *братского кладбища* участников севастопольской обороны в Крымской войне 1854—1855 гг.

«Как беден наш язык! — Хочу и не могу...». *Юпитера орел* — см. стр. 525.

Е. Д. Дункер. *Дункер* Елизавета Дмитриевна — родственница Фета. Очевидно, стихотворение было дарственной надписью на книге стихов поэта.

На пятидесятилетие музы. Написано в связи с юбилеем Фета — пятидесятилетием его поэтического творчества.

Quasi una fantasia. Название взято, очевидно, у Бетховена, который написал две фортепьянные сонаты с этим названием.

П. И. Чайковскому. *Антиподы* — в данном случае американцы Весной 1891 г. П. И. Чайковский ездил в Соединенные Штаты Америки, где с огромным успехом дирижировал несколькими симфоническими концертами. *Цевница* — старинный музыкальный инструмент, в поэтическом языке — символическое обозначение орудия музыканта.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ А. А. ФЕТА

А. А. Фет. Полное собрание стихотворений. Вступительная статья, редакция и примечания Б. Я. Бухштаба. Л., 1937 («Библиотека поэта», Большая серия).

А. А. Фет. Полное собрание стихотворений. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Б. Я. Бухштаба. Л., 1959 («Библиотека поэта», Большая серия, второе издание).

СОДЕРЖАНИЕ¹

А. А. Фет. <i>Вступительная статья</i> П. П. Громова	5
---------------------------------------------------------	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

Хандра	91
Греция .	93
К красавцу . . .	94
Деревня	95
«На заре ты ее не буди...»	97 517
«На пажитях немых люблю в мороз тре- сучий...»	98
«Знаю я, что ты, малютка...»	99
«Вот утро севера — сонливое, скупое...» .	100 517
«Печальная береза...»	101
«Кот поет, глаза прищуря...» .	102
«Чудная картина...»	103
«Зеркало в зеркало, с трепетным лепе- том...»	104 518
«Полно смеяться! что это с вами?...» .	105 518

¹ Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

«Ночь крещенская морозна...»	106	518
«Помню я: старушка няня...»	108	
«Перекресток, где раquitка...»	109	518
«Не отходи от меня...»	110	518
«Тихая, звездная ночь...»	111	
«Я полон дум, когда, закрывши вежды...»	112	
«Буря на небе вечернем...»	113	
«Давно ль под волшебные звуки...»	114	
«Когда я блестящий твой локон целую...»	115	
«Теплым ветром потянуло...»	116	
«Шумела полночная вьюга...»	117	
«Право, от полной души я благодарен соседу...»	118	
«Вдали огонек за рекою...»	119	
«Я люблю многое, близкое сердцу...»	120	
«Я жду... Соловьиное эхо...»	122	
«Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!..»	123	
«Друг мой, бессильны слова, — одни поце- луи всеильны...»	124	
«Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо?..»	125	
Сон и Пазифая	126	519
«Щечки рдеют алым жаром...»	127	
«Сосна так темна, хоть и месяц...»	128	
Моя Ундина	129	
«Я узнаю тебя и твой белый вуаль...»	130	
«Как на черте полночной дали...»	131	
«Поверьте мне: с надеждой тайной...»	132	
Вакханка	133	
«Полуночные образы реют...»	134	
«Я долго стоял неподвижно...»	135	

«Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый...»	136
«Не ворчи, мой кот-мурлыка...»	138
Колыбельная песня сердцу	139
«Облаком волнистым...»	141
«Я пришел к тебе с приветом...»	142 519
Узник	143 519
Ивы и березы	144
«Когда мои мечты за гранью прошлых дней...»	145 519
«Уж верба вся пушистая...»	146 519
«Улыбка томительной скуки...»	147
Серенада	148 520
«За кормою струйки вьются...»	149 520
Цыганке	150
«Как мошки зарею...»	151
«Весеннее небо глядится...»	152 520
«Недвижные очи, безумные очи...»	153
Воздушный город	154
«Когда мечтательно я предан тишине...»	155 520
«Постой! здесь хорошо! зубчатой и широ- кой...»	156
«Эх, шутка-молодость! Как новый, ран- ний снег...»	157
«Лозы мои за окном разрослись живо- писно и даже...»	158
«Тебе в молчании я простираю руку...»	159 520
«Я люблю его жарко: он тигром в бою...»	160 520
«Еще весна, — как будто неземной...»	161
«Непогода — осень — куришь...»	162
«Ветер злой, ветр крутой в поле...»	163
«Ночь светла, мороз сияет...»	164

«На двойном стекле узоры...»	. 165
Фантазия 166
«Спи — еще зарею...» 168
«Свеж и душист твой роскошный ве- нок...» 169 520
«Младенческой ласки доступен мне лепет...» 170
«Что за вечер! А ручей...» 171
Змей 173 520
Лихорадка 174 521
Диана 176 521
«Влажное ложе покинувши, Феб злато- кудрый направил...» 177 521
Кусок мрамора 179 521
К юноше 180
«Уснуло озеро; безмолвен черный лес...»	. 181
«Полно спать: тебе две розы...» 182
«О, не зови! Страстей твоих так зво- нок...» 183 522
Последнее слово 185 522
«Как отрок зарею...» 186
Метель 187
«Эти думы, эти грезы...» 190
«Поделись живыми снами...» 191
«Сядь у моря — жди погоды...» 192
К О ф е л и и 193 522
«Не здесь ли ты легкою тенью...»	. 193
«Я болен, Офелия, милый мой друг!...» 193
«Офелия гибла и пела...» 194
«Как ангел неба безмятежный...»	. 194
«Я в моих тебя вижу всё снах...» 196

Весенние мысли	197
«Снова слышу голос твой...»	198
«Шепот, робкое дыханье...»	199 523
«Напрасно, дивная, смешавшись с тол- пою...»	200
«Напрасно!..»	201
«Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад...»	203 523
«Растут, растут причудливые тени...»	204
На Днепре в половодье	205 523
«Какие-то носятся звуки...»	207
Старый парк	208
«Не говори, мой друг: «Она меня забудет...»	210 523
«Не спится. Дай зажгу свечу. К чему читать?..»	211
«Еще весны душистой нега...»	212
Пчелы	213
Первый ландыш	214
«Как здесь свежо под липою густою...»	215
«Ласточки пропали...»	216
Степь вечером	217 524
«Над озером лебедь в тростник протя- нул...»	218
Сосны	219
В саду	220
«Не спрашивай, над чем задумы- ваюсь я...»	222
Первая борозда	224 524
«Ты расточительна на милые слова...»	225
Лес	226
«Какое счастье: и ночь, и мы одни!..»	227

«Что за ночь! Прозрачный воздух ско- ван...»	228	
Муза («Не в сумрачный чертог наяды говорливой...»)	229	524
Ива	230	
Шарманщик	231	524
«Люди нисколько ни в чем предо мной не виновны, я знаю...»	233	
«Жди ясного на завтра дня...»	235	
Буря	236	
Пароход	237	
Весна на дворе	238	
Вечер	239	
Диана, Эндимион и сатир (Картина Брюллова)	240	524
«Последний звук умолк в лесу глу- хом...»	241	
«О друг, не мучь меня жестоким при- говором!..»	242	
«Вчера, увенчана душистыми цветами...»	243	
«Заревая вьюга...»	244	
«Забудь меня, безумец исступленный...»	245	
Памяти Д. Л. Крюкова	246	524
«Я уезжаю. Замирает...»	247	
Одинокий дуб	248	
«В темноте, на треножнике ярком...»	250	
На лодке	251	
«Под небом Франции, среди столицы света...»	252	
Венера Милосская	253	525
Ответ Тургеневу («Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью...»)	254	

Е. П. Ковалевскому	256	525
У камина	257	
«В леса безлюдной стороны...»	258	
«Только станет смеркаться немножко...»	259	
Прибой	260	
На корабле	261	
«Весна и ночь покрыли дол...»	262	
Италия	263	525
На развалинах цезарских палат	265	525
«О нет, не стану звать утраченную радость...»	267	
Еще майская ночь	269	525
Певице	270	526
Бал	271	
Anruf an die Geliebte Бетховена	272	526
«На стог сена ночью южной...»	273	526
Музе («Надолго ли опять мой угол посе- тила...»)	274	
«Был чудный майский день в Москве...»	275	
Шиллеру	277	526
«Я был опять в саду твоём...»	278	
«Расстались мы, ты странствуешь да- лече...»	279	
Аполлон Бельведерский	280	526
«Какая ночь! Как воздух чист...»	281	
Весенний дождь	282	
«Как хорош чуть мерцающим утром...»	283	526
«Морская даль во мгле туманной...»	284	
Цветы	285	
«Вчера я шел по зале освещенной...»	286	
«Нет, не жди ты песни страстной...»	287	
«Заря прощается с землею...»	288	

Рыбка	289	527
Псовая охота	290	
«Лесом мы шли по тропинке единственной...»	292	
Тургеневу («Прошла зима, затихла вьюга...»)	293	527
«Скрип шагов вдоль улиц белых...»	295	
Сон и смерть	296	
«Пойду навстречу к ним знакомою тропюю...»	297	
«Опять незримые усилья...»	298	
«Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...»	300	
Грезы	301	
«Кричат перепела, трещат коростели...»	302	
Георгины	304	
«Если ты любишь, как я, бесконечно...»	305	
«Сны и тени...»	306	
Колокольчик	307	
«По ветви нижние леса...»	308	
«Как ярко полная луна...»	309	
Старые письма	310	527
Дождливое лето	312	
«Зреет рожь над жаркой нивой...»	313	
«Влачась в бездействии ленивом...»	314	
На железной дороге	315	
Мотылек мальчику	317	
«Я ждал. Невестою-царицей...»	318	527
«Чем безнадежнее и строже...»	319	
«Ты прав: мы старимся. Зима недалека...»	320	527
«Свеча нагорела. Портреты в тени...»	322	

«Какая грусть! Конец аллеи...»	323
«Как ясность безоблачной ночи...»	324
«Чем тоске, и не знаю, помочь...»	325
«Прежние звуки, с былым обаяньем...»	326
«Тихонько движется мой конь...»	327
«Не избегай; я не молю...»	328
«С какой я негою желанья...»	329
«Солнце нижет лучами в отвес...»	330
«Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...»	331
«Не первый год у этих мест...»	332
«Ты видишь, за спиной косцов...»	333
«Жизнь пронеслась без явного следа...»	334
«Я повторял: «Когда я буду...»	335
Тургеневу («Из мачт и паруса — как честно он служил...»)	336 527
«Измучен жизнью, коварством на- дежды...»	338 528
«Еще вчера, на солнце млея...»	340
Роза	341 528
«Кому венец: богине ль красоты...»	343
Купальщица	344
«Напрасно ты восходишь надо мной...»	345 528
Утро в степи	346
«Встает мой день, как труженик убо- гой...»	347
«Как нежишь ты, серебряная ночь...»	348
«Блеском вечерним овеяны горы...»	349
Ф. И. Тютчеву	350
Псевдопоэту	351
«Какой горючий пламень...»	352
«В душе, измученной годами...»	353

«Истрепались сосен мохнатые ветви от бури...»	354
Горячий ключ	355
Майская ночь	357 528
Ключ	358
«Когда б в полете скоротечном...»	359
«Томительно-призывно и напрасно...»	360
«Всю ночь гремел овраг соседний...»	361
«В дымке-невидимке...»	362 528
«Только встречу улыбку твою...»	363
«Целый мир от красоты...»	364
«О, не вверяйся ты шумному...»	365
«Что ты, голубчик, задумчив сидишь...»	366
Графу Л. Н. Толстому («Как ястребу, который просидел...»)	367 528
Ему же при появлении романа «Война и мир»	368 529
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»	369 529
Alter ego	370
«Ты отстрадала, я еще страдаю...»	371 529
Смерть	372
А. Л. Бржеской («Далекий друг, пойми мои рыдания...»)	373 529
«Глубь небес опять ясна...»	374
«Я рад, когда с земного лона...»	375
А. Л. Бржеской («Опять весна! опять дрожат листы...»)	376 529
«Не тем, господь, могуч, непостижим...»	377 530
Ничтожество	378 530
«Дул север. Плакала трава...»	380

«Это утро, радость эта...»	381
«Так; он безумствует; то бред вообра- женья...»	382
Восточный мотив	383
«Еще, еще! Ах, сердце слышит...»	384
«Одна звезда меж всеми дышит...»	385
Шопену	386 530
«Отчего со всеми я любезна...»	388
Музе («Пришла и села. Счастлив и тре- вожен...»)	389 530
Romanzero	390 530
«Заиграли на рояле...»	393 530
Теперь	394
«Ныне первый мы слышали гром...»	395
«Только в мире и есть, что тенистый...»	396
«Солнце садится, и ветер утихнул лету- чий...»	397
Осень («Как грустны сумрачные дни...»)	398
«Учись у них — у дуба, у березы...»	399
На книжке стихотворений Тютчева	400 530
«Молятся звезды, мерцают и рдеют...»	401
Полонскому	402 531
«С гнезд замахали крикливые цапли...»	403
«Сад весь в цвету...»	404 531
Смерти	405
«О, этот сельский день и блеск его краси- вый...»	406
Ласточки	407 531
«Еще одно забывчивое слово...»	408
«Кровию сердца пишу я к тебе эти строки...»	409

«Я видел твой млечный, младенческий волос...»	410
«День проснется — и речи людские...» .	411
Бабочка	412
«С бородою седою верховный я жрец...»	413
Вольный сокол	414
«Страницы милые опять персты рас- крыли...»	415
Добро и зло	416
«Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...»	418
«Есть ночи зимней блеск и сила...» .	419
В. С. Соловьеву	420 531
Светоч	421
«Я потрясен, когда кругом...»	422 531
«Я тебе ничего не скажу...»	423 531
«Ты помнишь, что́ было тогда...»	424 531
В лунном сиянии	426
А. Л. Бржеской («Нет, лучше голосом ласкательно обычным...»)	427
«Долго снились мне вопли рыданий твоих...»	428
Кукушка	429
Графине С. А. Толстой («Я не у вас, я обделен!...»)	430 531
«Из дебрей туманы несмело...»	431
«На зеленых уступах лесов...»	432
«Ты вся в огнях. Твоих зарниц...»	433
Осенняя роза	434 532
«Прости — и всё забудь в безоблачный ты час...»	435

«В степной глуши, над влагой молчаливой...»	436	
«Если радует утро тебя...»	437	
«Чуждые огласки...»	438	
«Как богат я в безумных стихах!..»	439	
«Нет, я не изменил. До старости глубокой...»	440	
«Когда читала ты мучительные строки...»	441	
«Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть...»	442	
«Моего тот безумства желал, кто смежал...»	443	
«Благовонная ночь, благодатная ночь...»	444	
Муза («Ты хочешь проклинать, рыдая и стена...»)	446	532
Севастопольское братское кладбище	448	532
«Через тесную улицу здесь, в высоте...»	449	
«Светил нам день, будя огонь в крови...»	450	
«Как беден наш язык! — Хочу и не могу...»	451	532
«Вот и летние дни убавляются...»	452	
«Всё, всё мое, что есть и прежде было...»	453	
«Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник...»	454	
«С солнцем склоняясь за темную землю...»	455	
«Одним толчком согнать ладью живую...»	456	
«Не нужно, не нужно мне проблесков счастья...»	457	
«Мама! глянь-ка из окошка...»	458	
«В полуночной тиши бессонницы моей...»	459	

*

«Полуразрушенный, полужилец мо- гилы...»	461	
Е. Д. Дункер	462	532
«Прости! во мгле воспоминанья...»	463	
Ракета	464	
«Как трудно повторять живую красоту...»	465	
Зной	466	
«Руку бы снова твою мне хотелось по- жать!...»	467	
«Теснее и ближе сюда!...»	468	
«Сегодня все звезды так пышно...»	469	
На пятидесятилетие музыки	470	533
«Гаснет заря в забытьи, в полусне...»	471	
«От огней, от толпы беспощадной...»	472	
«Роями поднялись крылатые мечты...»	473	
«Устало всё кругом: устал и цвет небес...»	474	
«Озираясь на юность тревожно...»	475	
«Людские так грубы слова...»	476	
Quasi una fantasia	477	533
«Чуя внушенный другими ответ...»	478	
На качелях	479	
«Погляди мне в глаза хоть на миг...»	480	
Во сне	481	
Угасшим звездам	482	
Поэтам	483	
«Хоть счастье судьбой даровано не мне...»	484	
«Запретили тебе выходить...»	485	
«Что молчишь? Иль не видишь — горю...»	486	
Сентябрьская роза	487	

«Еще люблю, еще томлюсь...»	488
«На кресле отвалясь, гляжу на потолок...»	489
«Опавший лист дрожит от нашего движения...»	490
«Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал...»	491
«Завтра — я не различаю...»	492
«Только месяц взошел...»	493
«Качаясь, звезды мигали лучами...»	494
«Я слышу — и судьбе я покоряюсь грозной...»	495
«Кляните нас: нам дорога свобода...»	496
«Мы встретились вновь после долгой разлуки...»	497
«Люби меня! Как только твой покорный...»	498
«За горами, песками, морями...»	499
«Я говорю, что я люблю с тобою встречи...»	500
«Ночь и я, мы оба дышим...»	501
«Давно в любви отрады мало...»	502
«О, как волнуясь я мыслю больною...»	503
П. И. Чайковскому	504
«Опять осенний блеск денницы...»	505
«Ель рукавом мне тропинку завесила...»	506
Почему?	507
«Не отнеси к холодному бесстрастью...»	508
«Не могу я слышать этой птички...»	509
«Всё, что волшебным так манило...»	510
«Рассыпаясь смехом ребенка...»	511

«Когда смущенный умолкаю...» . . .	512
«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...»	513
«Тяжело в ночной тиши...»	514
 Примечания	 . 515
 Основные издания стихотворений А. А. Фета	 534

Редакционная коллегия

В. Н. Орлов (главный редактор),

В. Г. Базанов, Б. И. Бурсов,

Б. Ф. Егоров (зам. главного редактора),

В. М. Жирмунский, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев,

М. Ф. Рыльский, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский,

Н. С. Тихонов, С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский

Фет Афанасий Афанасьевич
СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *Г. М. Цурикова*

Художник *Л. С. Хижинский*

Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 6/III 1963 г. Подписано
в печать 3/VII 1963 г. Бумага $84 \times 108 \frac{1}{64}$
Печ. л. $8 \frac{5}{8} + 1$ вкл. (14,2). Уч.-изд. л. 12,48.
Тираж 50 000. Зак. № 445. Цена 48 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УЦБиПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

